

С неба упали три яблока

Автор:

[Наринэ Абгарян](#)

С неба упали три яблока

Наринэ Юриковна Абгарян

Эксклюзивная новая классика

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.

Наринэ Юриковна Абгарян

С неба упали три яблока

© Наринэ Абгарян, текст, 2014

© Александр Заварин иллюстрация на обложке, 2015

© Сона Абгарян, иллюстрации, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Часть I

Тому, кто видел

Глава 1

В пятницу, сразу после полудня, когда солнце, перевалившись через высокий зенит, чинно покатилося к западному краю долины, Севоянц Анатолия легла помирать.

Перед тем как отойти в мир иной, она тщательно полила огород и насыпала курам корму с запасом – мало ли когда соседи обнаружат ее бездыханное тело, не ходить же птице некормленной. Далее откинула крышки стоящих под водосточными желобами дождевых бочек – на случай внезапной грозы, чтобы льющими сверху потоками воды не смывало фундамент дома. Потом она пошарила по кухонным полкам, собрала все недоеденные припасы – плошки со сливочным маслом, сыром и медом, краюху хлеба и половину отварной курицы – и отнесла в прохладный погреб. Вытащила из шифоньера «смёртное»: глухое шерстяное платье с белым кружевным воротничком, длинный передник с вышитыми гладью карманами, туфли на плоской подошве, вязанные гулпа[1 - Толстые вязанные носки.] (всю жизнь мерзли ноги), тщательно постиранное и выглаженное нижнее белье, а также прабабушкины четки с серебряным крестиком – Ясаман догадается вложить их ей в руку.

Оставила одежду на самом видном месте гостевой комнаты – на тяжелом, покрытом холщовой салфеткой дубовом столе (если поднять край этой салфетки, можно разглядеть два глубоких, отчетливых следа от ударов топора), водрузила на стопку смёртного конверт с деньгами – на похоронные расходы, вытащила из комода старую клеенчатую скатерть и ушла в спальню. Там она разобрала постель, разрежала клеенку пополам, постелила на простыню одну половину, легла, накрылась второй половиной, накинула сверху одеяло, сложила на груди руки, завозилась затылком, удобно устраиваясь на подушке, глубоко вздохнула и закрыла глаза. Следом сразу же встала, распахнула до упора обе створки окна, подперла их горшками с геранью – чтобы не захлопнулись, и снова легла. Теперь можно не беспокоиться, что покинувшая ее брренное тело душа будет потерянно блуждать по комнате. Освободившись, она сразу же выпорхнет

в открытое окно – навстречу небесам.

Такие скрупулезные и подробные приготовления имели под собой весьма значительную и печальную причину – вот уже второй день Севоянц Анатолия истекала кровью. Обнаружив на исподнем непонятные бурые пятна, она сначала обомлела, потом внимательно рассмотрела их и, убедившись, что это действительно кровь, горько расплакалась. Но, устыдившись своего страха, одернула себя и поспешно утерла слезы краем косынки. Зачем плакать, если неизбежного не отменить. У каждого своя смерть, кому-то она отключает сердце, у кого-то, глумясь, отнимает разум, а ей, стало быть, определила уйти от потери крови.

В том, что недуг неизлечим и скоротечен, Анатолия не сомневалась. Ведь не зря он пронзил самую бесполезную и бессмысленную часть ее тела – матку. Словно намекал, что это кара, ниспосланная ей за то, что она не смогла выполнить своего главного предназначения – родить детей.

Запретив себе плакать и роптать и тем самым смирившись с неизбежным, Анатолия на удивление быстро успокоилась. Порылась в бельевом сундуке, извлекла старую простыню, разрешила ее на несколько частей, соорудила некое подобие прокладок. Но к вечеру выделения стали такими обильными, что казалось – где-то внутри у нее лопнула большая и неиссякаемая вена. Пришлось пустить в ход те малые запасы ваты, которые хранились дома. Так как вата грозилась вскорости закончиться, Анатолия распорол край одеяла, вытащила оттуда несколько клоков овечьей шерсти, тщательно ее промыла и расстелила сушиться на подоконнике. Конечно, можно было сходить к живущей по соседству Шлапканц Ясаман и попросить ваты у нее, но Анатолия не стала этого делать – вдруг не удержится, расплачется и расскажет подруге о своей смертельной болезни. Ясаман тут же всполошится, метнется к Сатеник, дабы та отправила в долину молнию за каретой скорой помощи... Разъезжать по врачам, чтобы они мучили ее болезненными и бесполезными процедурами, Анатолия не намеревалась. Решила умереть сохраняя достоинство и умиротворение, в тишине и спокойствии, в стенах дома, где она прожила свою нелегкую и напрасную жизнь.

Легла она поздно, долго разглядывала семейный альбом, лица канувших в Лету родных под скудным освещением керосиновой лампы выглядели особенно печальными и задумчивыми. Скоро увидимся, шептала Анатолия, глядя каждую карточку своими огрубевшими от тяжелого деревенского труда пальцами, скоро

увидимся. Несмотря на подавленное и тревожное состояние, уснула она легко и проспала до самого утра. Проснувшись от всполошенного крика петуха – птица бестолково шебаршилась в курятнике, с нетерпением дожидаясь того часа, когда ее выпустят погулять по огородным грядкам. Анатолия внимательно прислушалась к себе. Самочувствие определила как вполне сносное – если не считать ломоты в пояснице и легкого головокружения, вроде ничего и не беспокоило. Осторожно поднялась, сходила в сортир, с каким-то злым удовлетворением убедилась, что крови стало еще больше. Вернулась в дом, соорудила из клок шерсти и лоскута ткани прокладку. Если дело и дальше так пойдет, то к завтрашнему утру из нее вытечет вся кровь. Значит, еще одного восхода в ее жизни может просто не случиться.

Она постояла на веранде, впитывая каждой клеточкой бережный утренний свет. Сходила к соседке – поздороваться и узнать, как у нее дела. Ясаман затеяла большую стирку – как раз ставила на дровяную печку тяжелый чан с водой. Пока вода грелась, они поговорили о том о сем, обсудили житейские дела. Скоро поспеет шелковица, надо будет ее трясти, собирать плоды, из одной части варить сироп, другу часть сушить, а третью оставить доходить в деревянной бочке, чтобы потом пустить на тутовую самогонку. Да и за конским щавелем пора уже собираться, через неделю-другую будет поздно – на жарком июньском солнце трава быстро грубеет и делается непригодной для пищи. Анатолия ушла от подруги, когда вода в чане закипела. Теперь можно не беспокоиться, Ясаман о ней до завтрашнего утра не вспомнит. Пока постирает белье, пока накрахмалит его, подсинит, развесит сушиться на солнце, соберет, погладит. Только к позднему вечеру и управится. Так что у Анатолии будет достаточно времени, чтобы тихо отойти в мир иной.

Успокоенная этим обстоятельством, утро она провела в неспешных будничных хлопотах и лишь после полудня, когда солнце, перейдя купол неба, чинно покатилося к западному краю долины, легла помирать.

Анатолия была младшей из трех дочерей Севоянц Капитона и единственной из всей его семьи, кому удалось дожить до преклонного возраста. Слышанное ли дело – в феврале справила пятидесятивосьмилетие – небывалая для ее родных дата.

Мать свою она помнила плохо – та умерла, когда ей было семь лет. У нее были необычайного золотистого оттенка миндалевидные глаза и густые медовые кудри. Звали ее очень созвучно ее внешности – Воске[2 - Золотая (арм.)]. Мать

заплетала свои чудесные волосы в тугую косу, укладывала ее с помощью деревянных шпилек в тяжелый узел на затылке и ходила чуть запрокинув назад голову. Часто водила пальцами по шее, жаловалась, что та немеет. Раз в год отец сажал ее у окна, бережно расчесывал волосы и аккуратно подрезал их на уровне поясницы – выше подрезать мать не позволяла. И дочерям никогда не обрезала косы – длинные волосы должны были уберечь их от проклятия, которое кружило над ними вот уже восемнадцать лет, с того дня, когда она вышла замуж за Севоянц Капитона.

На самом деле замуж за него должна была пойти ее старшая сестра, Татевик. Татевик тогда было шестнадцать, и четырнадцатилетняя Воске, вторая девочка на выданье в большой семье Агулисанц Гарегина, принимала самое деятельное участие в подготовке к торжеству. По вековой, чтимой многими поколениями маранцев традиции, после церемонии венчания свадьбу должны были сыграть в доме невесты, а потом – в доме жениха. Но главы семей Капитона и Татевик – двух богатых и уважаемых родов Марана – решили объединиться и сыграть одну большую свадьбу на мейдане[3 - Центральная площадь в небольших населенных пунктах, место, где собирались люди.]. Торжество обещало быть неслыханным по размаху. Отец Капитона, решив поразить воображение многочисленных гостей, отправил в долину двух своих зятьев, чтобы они пригласили на свадьбу музыкантов камерного театра. Те вернулись уставшие, но довольные и объявили, что чопорные музыканты сразу же сменили гнев на милость (виданное ли это дело, приглашать в деревню театральный оркестр!), когда узнали о щедром гонораре в две золотые монеты каждому и запасе провизии на неделю, который после торжества обещали доставить на телеге в театр зятя Капитона. Отец Татевик готовил свой сюрприз – на свадьбу был приглашен самый известный толкователь снов долины. За вознаграждение в десять золотых он согласился заниматься своим ремеслом на протяжении всего дня, единственное, что попросил, – помочь с доставкой необходимого для работы оборудования: шатра, стеклянного шара на массивной бронзовой подставке, стола для гаданий, широкой тахты, двух вазонов с густопахнущим разлапистым растением невиданной доселе породы и диковинных спиральных свечей из специальных сортов растертого в порошок дерева, которые горели по несколько месяцев, распространяя вокруг имбирный и мускусный аромат, но не догорали. На свадьбу, кроме маранцев, были приглашены полсотни жителей долины, в большинстве своем – уважаемые и состоятельные люди. О предстоящем празднестве, обещавшем превратиться чуть ли не в достопамятное событие, написали даже в газетах, и это было особенно почетно, потому что прежде пресса никогда не упоминала о торжествах в семьях, не имевших дворянского происхождения.

Но случилось то, чего никто не мог ожидать, – за четыре дня до бракосочетания невеста слегла с лихорадкой, промучилась в горячечном бреде сутки и, не приходя в сознание, скончалась.

В день ее похорон над Мараном, видимо, разверзлись какие-то иные, темные врата и выступили другие, обратные небесным силы, потому что ничем, кроме помутнения, поведение глав двух семейств объяснить было нельзя. Сразу же после отпевания, недолго посоветовавшись, они решили не отменять свадьбу.

– Не пропадать же расходам, – объявил за поминальным столом бережливый Агулисанц Гарегин. – Капитон хороший парень, работающий и уважительный, любой будет рад заполучить такого зятя. Татевик Бог забрал к себе, значит, так тому и суждено было случиться, грех роптать на Его волю. Но у нас имеется еще одна дочь на выданье. Так что мы с Анесом решили, что замуж за Капитона пойдет Воске.

Никто не посмел возразить мужчинам, и безутешной после потери любимой сестры Воске ничего не оставалось, как безропотно выйти замуж за Капитона. Траур по Татевик отодвинули на неделю. Свадьбу отгуляли большую, шумную и очень сытную, вино и тутовая самогонка лились рекой, сервированные под открытыми небом столы ломились от всевозможных блюд, облаченный в темные сюртуки и начищенные до блеска ботинки оркестр наигрывал польки и менуэты, маранцы какое-то время напряженно прислушивались к непривычной уху классической музыке, но потом, порядком охмелев, махнули рукой на приличия и пустились в обычный деревенский пляс.

В шатер толкователя снов мало кто наведывался – не до того было разгоряченным обильной едой и питьем гостям свадьбы. Воске туда за руку привела обеспокоенная двоюродная тетя, когда девушка, улучив минуту, рассказала в двух словах сон, который ей приснился накануне венчания. Толкователь оказался крохотным, иссиня-худым и невероятно, аж устрашающе уродливым стариком. Он показал рукой, куда сесть Воске, – та обомлела, разглядев мизинец его правой руки: длинный, много лет не стриженный темный ноготь, согнувшись скобой, огибал подушечку пальца и рос вдоль ладони, в сторону кривого запястья, сковывая движения всей кисти. Тетю старик бесцеремонно выпроводил из шатра, велел подежурить у входа, сам устроился напротив, широко расставив ноги в диковинных шароварах и свесив между колен длинные тонкие кисти, и молча уставился на Воске.

– Мне сестра приснилась, – ответила на его незаданный вопрос девушка. – Стояла спиной – в красивом платье, с вплетенной в косу жемчужной нитью. Я хотела обнять ее, но она не далась. Обернулась ко мне – лицо почему-то старое, в морщинах. И рот такой... словно язык не уместается. Я заплакала, а она отошла в угол комнаты, выплюнула какую-то темную жидкость себе в ладони, протянула мне и говорит: «Не видать тебе счастья, Воске». Я перепугалась и проснулась. Но самое страшное случилось после, когда я открыла глаза и поняла, что сон продолжается. Время было раннее энбашти[4 - Раннее утро, отрезок от 3 до 6 утра.], петухи еще не кричали, я пошла попить воды, зачем-то взглянула вверх, на потолок, и увидела в ердике[5 - Окно в потолке помещения.] печальное лицо Татевик. Она скинула мне под ноги свой головной ободок с накидкой и исчезла. А ободок и накидка, коснувшись пола, рассыпались в прах.

Воске тяжело разрыдалась, размазывая по щекам черную краску для ресниц – единственную косметику, которой пользовались женщины Марана. Из расшитых дорогим кружевом и серебряными монетами разрезов шелковой минтаны[6 - Платье на торжество.] выглядывали ее хрупкие детские запястья, на виске тревожно забились голубая беспомощная жилка.

Толкователь снов с шумом выдохнул, издав протяжный, раздражающий слух звук. Воске осеклась и испуганно уставилась на него.

– Слушай меня, девочка, – проскрипел старик, – сон я тебе объяснять не буду, проку в этом никакого, все равно ничего уже не изменить. Единственное, что посоветую, – никогда не состригай волосы, пусть они всегда прикрывают тебе спину. У каждого человека – свой оберег. У меня, – тут он помахал перед носом Воске правой рукой, – ноготь мизинца. Ау тебя, стало быть, – волосы.

– Хорошо, – шепнула Воске. Она подождала немного, надеясь на еще какие-то указания, но толкователь снов хранил угрюмое молчание. Тогда она поднялась, чтобы уйти, но, собравшись с духом, заставила себя спросить: – Вы не знаете, почему именно волосы?

– Не могу знать. Но раз она кинула тебе головной убор – значит, хотела прикрыть то, что может уберечь тебя от проклятия, – не отрывая взгляда от дымящейся свечи, ответил старик.

Воске вышла из шатра, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, ей было не так тревожно, потому что часть своего беспокойства она оставила толкователю снов. Но в то же время не отпускала мысль, что ей пришлось, хоть и не из злого умысла, но все-таки выставить покойную сестру в глазах постороннего человека чуть ли не ведьмой. Когда она пересказала переминавшейся в нетерпении у шатра тетке пророчество старика, та почему-то несказанно обрадовалась:

– Главное, что нам нечего бояться. Делай так, как он тебе посоветовал, и все обойдется. А душа Татевик на сороковой день покинет нашу грешную землю и оставит тебя в покое.

Воске вернулась за свадебный стол – к новоиспеченному мужу, робко улыбнулась ему. Тот смутился, улыбнулся в ответ и внезапно густо покраснел – несмотря на солидный по патриархальным меркам двадцатилетний возраст, Капитон был очень стеснительным и робким юношей. Три месяца назад, когда в семье пошли разговоры о том, что пора бы его женить, муж старшей сестры сделал ему подарок – отвез в долину и оплатил ночь в доме терпимости. В Маран Капитон вернулся в большой растерянности. Не сказать что ночь утех, проведенная в объятиях пахнущей розовой водой, гвоздикой и потом публичной женщины, не пришлась ему по душе. Скорее наоборот – он был оглушен и заморожен теми томительно жаркими ласками, которыми она его щедро одарила. Но неясное чувство гадливости, легкая тошнота, которая зародилась в нем в ту самую минуту, когда он поймал выражение ее лица – извиваясь, словно змея, издавая глухие стоны и лаская его искусно и страстно, она умудрялась сохранять такую бесчувственную, каменную мину, словно не любовью занималась, а чем-то совершенно будничным, – не давали ему покоя. Со свойственной его возрасту опрометчивой торопливостью решив, что такое расчетливо-бесстыдное поведение присуще в постели любой женщине, он ничего хорошего от брака не ждал. Именно потому, когда отец объявил, что после смерти старшей дочери Агулисанц Гарегина он должен жениться на младшей, Капитон лишь молча кивнул в знак согласия. Какая разница на ком жениться? Все женщины по сути своей лживы и неспособны к искренним чувствам.

Ближе к ночи, когда официанты принялись подавать к столам сочные ломти запеченного в специях окорока и рассыпчатую пшеничную кашу со шкварками и жареным луком, хмельные сваты под визгливой вой зурны и одобрительный гул гостей свадьбы отвели молодых в спальню и заперли их там на засов, обещав

выпустить утром. Оставшись с мужем наедине, Воске горько разрыдалась, но, когда Капитон подошел к ней, чтобы обнять и утешить, не оттолкнула его, а наоборот, прильнула к нему и мигом притихла, только всхлипывала и смешно шмыгала носом.

– Я боюсь, – подняла она к нему свое заплаканное личико.

– Я тоже боюсь, – просто ответил Капитон.

Этот незамысловатый, но пронзительный в своей искренности и трогательности диалог, выговоренный стыдливым шепотом, связал их молодые и голодные до любви сердца неразрывно и навсегда. Уже потом, в постели, прижимая к груди свою юную супругу и с признательностью ловя каждое ее движение, каждый вздох, каждое нежное прикосновение, Капитон сгорал от стыда за то, что посмел сравнить ее с женщиной из долины. Воске в его объятиях светилась и переливалась, словно драгоценный камушек, она грела и наполняла смыслом все, что его окружало, отныне и присно она стала всем самым дорогим, что есть и будет в его жизни.

Спустя неделю, когда Агулисанц Гарегин и его зятя, простоволосые и безмолвные, одетые с ног до головы в черное, забили трех породистых телков, отварили мясо без соли и разнесли его по деревне на больших подносах – люди открывали двери и молча забирали положенную каждому дому порцию – разговаривать, когда тебе приносят мясо жертвенного животного, нельзя, – Воске завесила окна своей спальни непроницаемой тканью и вознамерилась до конца своих дней носить траур по сестре. Она изводила себя бесконечными постами и проводила в церкви долгие вечера, молясь за упокой души Татевик и выпрашивая у нее прощение, в скорбном сопровождении матери, невесток и двоюродных теток раз в неделю посещала кладбище, чтобы поухаживать за могилой сестры. Светлое и темное время суток словно поменялись для нее местами – ночью она любила и грела солнцем, а днем превращалась в пасмурное и горестное существо. Татевик к ней никогда больше не приходила, и этот факт очень печалил Воске. Она так и не простила меня, иначе обязательно бы приснилась еще раз, глотая слезы, делилась она своими переживаниями с мужем.

Чтобы как-то отвлечь жену от печальных мыслей, Капитон предложил ей заняться меблировкой дома, доставшегося им после свадьбы. Раньше в этом доме обитали его незамужняя тетка и бабушка – бабо Манэ, но потом они

перебрались к отцу Капитона, оставив молодым основательное, толстобокое и темноватое, но обжитое и уютное жилище с большой деревянной верандой, высоким чердаком и ухоженным фруктовым садом. Воске наотрез отказывалась переезжать, потому что дом находился в другом конце Марана. Но Капитон упорствовал – живя вдали от скорбящих родных, она меньше будет вспоминать о сестре и быстрее смирится с горечью утраты.

С большой неохотой уступив увещеваниям мужа, Воске неожиданно для себя увлеклась новым занятием и так рьяно взялась за дело, что даже заказала в долине несколько журналов по интерьеру. Тщательно изучив их содержание, она остановила свой выбор на столовой из мореного дуба – овальный обеденный стол, четыре обитые темно-зеленым бархатом широкие тахты, три десятка стульев – сидячих мест должно быть много, потому что гостей всегда будет полон дом, и несколько украшенных искусной резьбой буфетов с высокими стеклянными створками, куда можно будет убрать вычурный сервиз на двадцать четыре персоны и множество другой посуды, полученной в подарок от гостей на свадьбу. Плотнику Минасу, взявшемуся в точности воспроизвести мебель, пришлось нанять двух подмастерьев к своим трем, чтобы успеть к указанному сроку, – Воске уже была беременна первым ребенком и хотела справиться с меблировкой дома до его рождения. Время до родов она проводила в рукоделии – вышила на пару с матерью несколько скатертей и покрывал, два комплекта постельного белья, приданое и наряд для крестин младенца. Еженедельно, после ритуального посещения кладбища, она навещалась в плотницкую Минаса, чтобы проконтролировать работу. Минас кряхтел и хмурился, но молча терпел визиты Воске, правда, быстро выпроваживал ее домой, мотивируя это тем, что женщине, особенно беременной, не пристало находиться в пропахшей ядовитым лаком и мужицким потом мастерской. Но визиты в плотницкую не прошли даром – мебель была готова вовремя, и, едва приведя в порядок дом и справив новоселье, Воске слегла в схватках. Через сутки она подарила своему Капитону дочь, которую называли Назели. Спустя два года родилась Саломэ, еще через полтора года – младшая, Анатолия.

Ласковая и предупредительная к мужу, Воске была немногословна и очень сдержанна с дочерьми – Анатолия не припоминала, чтобы та называла их уменьшительно-ласкательными словами или поминутно осыпала поцелуями, как это делали другие матери. Она никогда не хвалила их, но и не ругала. Если что-то не нравилось, молча поджимала губы или же задирала бровь. Этой высоко вздернутой брови девочки остерегались больше, чем постоянного ворчания престарелой бабо Манэ, единственной родственницы, которая уцелела после страшного землетрясения, смывшего в бездну западное плечо Маниш-кара.

Случилось это бедствие в год, когда должна была родиться Саломэ. Бабо Манэ перебралась к ним, чтобы помогать с маленькой Назели – мучимой тяжелыми приступами тошноты. Воске сложно было справляться с непоседливым ребенком. Беда нагрянула морозным декабрьским полуднем: земля под ногами содрогнулась, заворочалась, загудела – протяжно, с выворачивающим душу завыванием, расколола плечо Маниш-кара и рухнула в пропасть, увлекая за собой дома с пристройками и дворами, захлебывающихся в крике людей и живность, которая, предчувствуя приближающееся несчастье, сходила сума в коровниках и хлевах, тщетно пытаясь привлечь внимание и предупредить хозяев.

Уцелевшая часть деревни перенесла удар стихии мужественно и с достоинством: люди отслужили заупокойные службы в крохотной часовне (стоящая на краю деревни церковь Григора Лусаворича[7 - Григорий Просветитель.] рухнула в пропасть первой) и разошлись по домам – укреплять испещренные глубокими трещинами стены и обрушившиеся крыши, приводить в порядок поваленные набок деревянные частоколы. Разговоров о том, что надо бы переехать в относительно безопасные низины, тогда еще не велось – они случились много позже. После землетрясения мейдан опустел – никогда больше там не проводились шумные праздники и гулянья. Несколько раз по старой памяти приезжали из долины цыгане, рассказывали, что часть рухнувших в пропасть домов унесло селом далеко на запад и прибило к чужим деревьям, и что люди, жившие в этих домах, целы и невредимы, но никогда не вернуться, потому что пережитый страх отбил им память, и они не знают, что когда-то жили на макушке покрытой вековым лесом и благодатными пастбищами горы. Цыган выслушивали с благодарностью, одаривали всяким скарбом и тряпьем – и отпускали с миром, каждый в душе надеялся, что они рассказывают правду и что несчастные обитатели западного крыла Маниш-кара живы. И даже то, что они теперь говорили на других языках и носили другую одежду, не имело никакого значения, в конце концов, небо везде одинаково синее, и ветер дует ровно так, как в краю, где тебе посчастливилось родиться.

Цыгане приезжали еще несколько раз, а потом перестали – они первыми ощутили приближение новой катастрофы и однажды исчезли – безмолвно и навсегда, растворившись в жарком мареве полуденного солнца, слепяще-золотом, как те монеты, которыми они расплачивались в ярмарочные дни на мейдане, пойманные за руку за ритуальный проступок воровства.

Анатолия родилась в ночь перед последним их появлением в деревне. Бабо Манэ как раз увела к соседке старших правнучек, чтобы дать отдохнуть обессиленной после тяжелых родов Воске, рядом, под материнским боком, бережно укутанная в теплое одеяло, спала крохотная Анатолия – единственная из дочерей Севоянц Капитона, как две капли воды похожая на своего смуглого деда, оттуда и род их называли Севоянц, потому что «сев» в переводе с маранского означает «черный». Цыганка – полноватая и низкорослая женщина с едва заметным шрамом на левой щеке, беспрепятственно вошла в дом, нигде не останавливаясь, прошла по всем комнатам, без стука заглянула к Воске – та испугалась, приподнялась на локте, прикрыла младенца. Цыганка сделала успокаивающий жест рукой – не бойся, я тебе плохого не сделаю, подошла к кровати, заглянула в личико ребенку.

– Как назовешь?

– Анатолия.

– Красиво.

Она выпрямилась, отогнула край одеяла и простыню, подобрала свои разноцветные оборчатые юбки, села, по-мужски расставив ноги и свесив между ними тонкие длинные кисти. Ее поза показалась Воске смутно знакомой, кто-то уже говорил ей важные слова сидя точно так, опершись локтями о расставленные колени, но, кто именно, она вспомнить почему-то не смогла – словно ей мановением руки стерли память.

– Мы сюда не вернемся больше, никогда. Отдай из своих украшений то, от чего ты хотела бы избавиться. Так надо, – медленно проговорила цыганка. Голосу нее был хриплый, прокуренный, часто прерывался на окончаниях слов, словно не хватало дыхания договорить.

Воске даже в голову не пришло возразить непрошеной гостье: было в ее сосредоточенном и тяжелом взгляде и выражении лица такое, что заставляло проникнуться к ней беспрекословным доверием. Поэтому она выгребла привычным жестом из-под спины длинные медовые волосы, откинула их на подушку – так они не мешали лежать, сложила на груди руки и задумалась. Украшений у нее мало, и все подарены сгинувшими в землетрясении родными. Отдавать что-нибудь одно равносильно было отказу от памяти.

– Открой верхний ящик комода, там лежит шкатулка. Выбери что-нибудь сама, – после недолгих колебаний, наконец, решилась Воске.

Цыганка тяжело встала, расправила край простыни и одеяла, выдвинула ящик, запустила туда руку, вытащила не глядя какое-то украшение, спрятала его за пазуху и направилась к выходу.

– Почему вы больше не вернетесь? – остановила ее вопросом Воске.

Цыганка взялась за ручку двери.

– Этого я сказать тебе не могу.

Чуть поколебавшись, добавила:

– Меня зовут Патрина.

Воске хотела назваться, но цыганка резко замотала головой – не надо. Потом тщательно закуталась в теплую шаль, коротко кивнула и вышла. Как только дверь за ней закрылась, у Воске закружилась голова. Она откинулась на подушку, полежала с закрытыми глазами, чтобы переждать приступ дурноты, и неожиданно для себя заснула. Пробудилась она в полной уверенности, что визит цыганки ей приснился, однако незадвинутый ящичек комода говорил об обратном. Она попросила бабо Манэ передать ей шкатулку с украшениями, недосчиталась тяжелого серебряного перстня с синим аметистом. Это было бабушкино кольцо, которое по праву наследования должно было перейти старшей ее внучке, Татевик. Но досталось Воске.

В комнате пахло вечерней свежестью и совсем немного – ромашковой горечью. Выпала роса, вытянула из полусонных цветов густой аромат и разлила его над землей. Еще час-другой – и наступит ночь, на Маниш-кар она надвигается стремительно и внезапно, словно из-за угла, казалось, только что горизонт переливался закатными лучами, а через секунду все уже затоплено дремотой, небо совсем низкое, в щедрой россыпи звезд, и сверчки поют так, словно в последний раз.

– Вот бы знать, о чем они поют, – пробормотала Анатолия и неожиданно для себя рассмеялась, да так неудачно, что подавилась собственной слюной. Откашлявшись, приподнялась на локте, отпила из стакана – графин с водой всегда стоял на прикроватной тумбочке, привычка, которую она завела со времен брака, муж, большой водохлеб, поглощал жидкость в огромных количествах, даже ночью, а чтобы не подниматься лишней раз, требовал каждый вечер оставлять на прикроватной тумбочке графин со свежей водой. Вот уже двадцать лет, как его и след простыл, а Анатолия ежедневно по старой памяти наливала в графин свежей воды. На следующее утро она пускала ее на полив растений в горшках и снова наполняла посудину водой. И так изо дня в день, каждый день, два десятка лет.

Выпив воды, она с превеликой осторожностью повернулась на бок, пошарила рукой под собой, поправляя клеенку. Меж ног было влажно и противно, тщательно сооруженная прокладка – Анатолия предусмотрительно проложила ее паклей, чтобы дольше держалась, – протекла насквозь, а ночная сорочка намочила и прилипла сзади. Пришлось подниматься и переодеваться. Анатолия проделала все манипуляции, подавляя тошноту, – почему-то все, что происходило с ее телом, вызывало у нее чудовищное раздражение и брезгливость. Крови стало еще больше, она хлестала с какой-то непреодолимой, злой силой, словно спешила как можно быстрее покинуть ее чрево. Анатолия убрала испачканное белье с глаз долой под кровать, легла, разгладила второй лоскут клеенки, накрылась им, накинула сверху одеяло, тщательно закутав ступни – ноги зябли даже летом, в самую жару.

– Скорее бы уже помереть, – вздохнула, прикрыла глаза и покорно нырнула в омут воспоминаний. С ними время летело незаметней.

Ей было семь лет, когда ушла мама – затопила баню, выкупала дочерей, уложила в постель, а на то время, пока возилась с ними, закрыла заслонку печной трубы, чтобы задержать жар. Запомнятовала потом ее открыть и угорела насмерть. Уставший после тяжелой работы Капитон уснул, не дождавшись жены, а проснувшись среди ночи и не обнаружив ее рядом, выбил дверь бани, вынес ее на руках – Воске, падая, зацепила дверцу печи, та распахнулась, и часть высыпавшихся углей, почему-то не погаснув от влаги, спалила ее дивные медовые кудри.

– Проклятие Татевик настигло нас! – возведя к небу корявые смуглые руки, рыдала в голос старенькая бабо Манэ, ей к тому времени перевалило за сто –

полуслепая, немощная, дни напролет она проводила на тахте, обложившись мутаками[8 - Мутака – продолговатая диванная подушка.] и, шелестя прозрачными бусинами четок, шептала молитвы. Смерть Воске заставила ее подняться и взвалить на свои согбенные плечи заботы по дому, она прожила еще пять лет и ушла в самый страшный голод, похоронив обессиленных от недоедания старших правнучек. Саломэ угасла первой, на следующий день отошла Назели, девочек положили в один гроб, прикрыли длинными волосами – голод, кроме здоровья и красоты, забрал у них пышные, медовые материнские косы. Бабо Манэ промыла их в лавандовой воде, просушила на сквозняке, расчесала и накрыла, словно покрывалом, стаявшие до прозрачности тела правнучек.

Капитон отвез младшую дочь в долину – к дальней родне, оставил им шкатулку с драгоценностями Воске и сбереженные за все годы нелегкого крестьянского труда средства – сорок три золотые монеты. Каждый раз, когда Анатолия закрывала глаза, перед ее внутренним взором вставал отец – исхудалый, с ввалившимися щеками и потухшим взглядом, молодой мужчина, за короткий срок превратившийся в дряхлого старика, она задерживала дыхание, чтобы не разрыдаться от дикой, терзающей сердце боли, когда вспоминала, как он прижал ее к своей груди, шепнул на ухо – хотя бы ты выживи, дочка, как вышел из дому, плотно прикрыв за собой дверь, – и больше не приходил, никогда.

Вернулась она в Маран спустя долгих семь лет, к тому времени приютившая ее семья успела пустить по ветру украшения матери, единственное, что осталось Анатолии, – камешек из натуральной раковины, нежно-розовый, в бежевый перелив, с искусно вырезанной юной девушкой, сидящей вполупорот на крохотной скамье под сенью ивы и выглядывающей кого-то вдали. За годы, проведенные в долине, Анатолия научилась многому, и в первую очередь – грамоте, счету и письму, в школу ее не отдавали, объясняя это тем, что средств на образование нет, но жена троюродного дяди, женщина несчастная и бесправная, находящаяся скорее в роли прислуги, чем хозяйки дома, приговоренная всю жизнь терпеть постоянные пьяные выходки мужа и сыновей, обучила ее всему, что знала сама. Она никогда не обижала Анатолию, была очень ласкова и предупредительна к ней, защищала от грубости и хамства троюродных братьев, а перед самой своей кончиной – умирала она долго и мучительно, от какой-то неведомой болезни, медленно и неуклонно разрушавшей ее здоровье, – отправила девятнадцатилетнюю Анатолию на почтовом фургоне обратно, в Маран.

Анатолия к тому времени выросла в милостивую девушку – иссиня-черные дедовские глаза, оливковая кожа, длинные, доходящие до середины икр, неожиданно льняные, в медовый перелив, материнские кудри. Волосы она заплетала в пышную косу, укладывала ее на затылке тяжелым узлом и ходила, как Воске, чуть откинув назад голову. Старенькая мать Ясаман, увидев ее после стольких лет разлуки, ахнула и схватилась за сердце – как же ты похожа на обоих своих родителей, девочка, словно соединила несчастные их души в своей. Анатолия несказанно обрадовалась тому, что соседи пережили голод. Ясаман, которая была старше ее на двадцать два года и к тому времени уже нянчила первого внука, взялась со своим мужем Ованесом помогать ей приводить в порядок одряхлевший дом и поднимать огород. Они укрепили подпорками заднюю стену, заменили ссохшиеся оконные рамы на новые, залатали провалившийся пол веранды. Со временем Анатолия искренне привязалась к ним, и привязанность эта была взаимной. К Анатолии, единственной выжившей дочери своего соседа и друга, Ованес относился с отеческой заботой и вниманием, а Ясаман стала для нее всем – матерью, сестрой, подругой, плечом, на которое можно опереться, когда жизнь становится совсем невыносимой.

За время, проведенное в долине, Анатолия отвыкла от тяжелого деревенского труда, прошло немало времени, пока она снова научилась справляться и с огородом, и с готовкой, и с уборкой. Чтобы облегчить себе жизнь, она заперла большую часть комнат в доме, определив под жилье родительскую спальню, гостиную и кухню, но раз в две недели ей приходилось тщательно прибираться везде, протирать пыль, выбрасывать проветриваться на солнце или на свежий, пахнущий инеем мороз тяжелые одеяла из овечьей шерсти, подушки, мутки и ковры. Понемногу она обзавелась живностью – Ясаман подарила ей курочку, которая первое время обитала в старом курятнике, чтобы не оставаться без петуха. Но потом, когда она высидела яйца, Анатолия забрала ее с пищущим и копошащимся выводком к себе, один из цыплят – боевитый, вздорный с первых дней жизни, вырос в знатного петела, настоящего потаскуна, с охотой покрывающего не только свой куриный гарем, но и пернатую женскую половину соседних дворов, за что не раз попадал в кровавые драки, откуда, впрочем, неизменно выходил победителем и долго потом кукарекал с забора, наводя страх и трепет на поверженных противников. Следом Анатолия обзавелась козой, научилась заквашивать мацун[9 - Кисломолочный продукт, напоминающий вкусом простоквашу.] и делать правильную брынзу – мягкую, нежную, молочно-влажную на срезе. Первое время пекла хлеб под присмотром Ясаман, потом поднаторела и справлялась сама. По воскресеньям, в самую рань, ходила на кладбище, а потом в часовню – поминать родных. Кладбище за годы ее отсутствия увеличилось в два раза, Анатолия обходила молчаливые каменные

кресты, вычитывая высеченные на них имена целых семей.

Спустя пол года после возвращения она устроилась на работу в библиотеку. Взяли ее туда, невзирая на отсутствие образования, просто потому, что работать было больше некому – старая библиотекарьша не пережила голода, а никого другого, кто согласился бы за жалкие гроши проводить пять дней в неделю в пыльном, заставленном книжными полками помещении, не нашлось. Детей в Маране не осталось, единственному пережившему голод ребенку, внуку Меликанц Ваню, едва исполнилось пять лет, построенные накануне голода школа и библиотека практически пустовали, но Анатолия не унывала: жизнь везде пробьет себе дорогу, скоро родится новое поколение детей, и все вернется на круги своя.

Библиотека показалась ей раем, местом, где можно отдохнуть от ежедневных однообразных и опостылевших домашних забот. Анатолия тщательно перемыла полки, натерла их до блеска домашним воском, перебрала читательские формуляры, по новой расставила книги, игнорируя шифр и алфавитный порядок и руководствуясь исключительно цветовыми предпочтениями – внизу те, которые в темных обложках, а наверху те, которые в светлых. Завела кругом растения – душистый горошек, алоэ и герань, на горшки пустила глиняные широкогорлые кувшины, которые простаивали без дела в погребе, только сходила в плотницкую Минаса – с просьбой просверлить на донышках дырочки для лишней влаги. Подмастерье Минаса, кряжистый невысокий мужичок, вдовый и бездетный, в годы голода похоронивший всю свою семью, сразу положил на нее глаз. Он лично доставил в библиотеку кувшины, заглядывал потом еще несколько раз – якобы разузнать, нужна ли помощь, сидел допоздна, не сводил взгляда со смущенной Анатолии, а спустя месяц явился к ней домой – с предложением пожениться. Анатолия не любила его и знала, что не полюбит, но замуж пойти согласилась, просто потому, что выходить было больше не за кого, свободных мужчин в деревне не осталось, а те, которые были, не подходили по возрасту – или молодые, или же, наоборот, очень старые. Брак получился несчастливый, за восемнадцать долгих лет, прожитых с мужем, она так и не узнала, что такое ласковое слово или заботливое отношение. Муж оказался на удивление черствым и равнодушным человеком, был неуклюж и неотзывчив в постели, на робкие просьбы Анатолии быть хоть чуточку нежнее отвечал грубым хохотом, часто брал ее силой – она лежала после, пропахшая его потом и немойтой плотью, и, глотая слезы, ненавидела себя всей душой. Единственной мечте – родить детей и посвятить себя их воспитанию – не суждено было сбыться: ей так и не удалось забеременеть. Муж сначала просто обвинял ее в бесплодии, но с годами становился мрачней и нетерпимее, выведенный из себя

ее бессловесной покорностью, раздражался и зверел, а под конец завел привычку напиваться и поколачивать ее, валить на пол и таскать по дому за косы, норовя не пропустить ни одной комнаты, а потом запирали до утра в полусыром хозяйственном помещении. С каждым разом становясь все беспощаднее, он, наверное, когда-нибудь убил бы ее, если бы не страх перед исполинским Ованесом, который, заметив однажды кровоподтек на скуле Анатолии, ничего не говоря, напрямик направился в мастерскую, выдернул его из-за плотницкого станка, протащил за шиворот по двору и закинул на высокую поленницу. Ушел, сверкнув глазом:

- Еще раз поднимешь на нее руку - убью тебя без разговоров, ясно?

Заступничество Ованеса спасло Анатолии жизнь, но превратило в невыносимую муку каждый ее день - теперь муж доводил ее умеючи, в полнейшей тишине: выворачивал руки, бил по суставам - чтобы не видно было следов, изводил придирками, откровенно глумился над ней. Анатолия терпела молча, не жаловалась - боялась, что Ованес сдержит слово и убьет ее горе-мужа, а причинять кому-либо вред она не хотела.

Единственной отдушиной в ее беспросветных буднях стало чтение. Первые годы, когда библиотека совсем пустовала, она предавалась любимому занятию все рабочее время напролет. Понемногу, благодаря наитию и врожденному вкусу, научилась отличать хорошую литературу от плохой, влюбилась в классиков - русских и французских, но графа Толстого возненавидела безоговорочно и навсегда - сразу после прочтения «Анны Карениной». Вычислив в его отношении к героиням нестерпимое бездушие и высокомерие, она записала графа в самодуры и деспоты и убрала толстенные тома его книг подальше от глаз - чтобы меньше расстраиваться. Доведенная издевательствами мужа до крайней степени отчаяния, мириться с такой несправедливостью еще и на книжных страницах она не намеревалась.

В свободное от чтения время Анатолия наводила в библиотеке уют и красоту: завесила окна легкими ситцевыми шторами - в половину длины, чтобы не лишать растения солнечного света, притащила из дому палас и постелила его вдоль обвешанной портретами писателей стены, а неудобные сиденья деревянных лавок украсила веселенькими подушками, которые сама же и сшила из разноцветных лоскутов.

Библиотека теперь напоминала ухоженную оранжерею-читальню – все подоконники и проходы между полками были обставлены кувшинами и горшками с растениями, Анатолия перевезла из бывшего имения Аршака-бека (ныне заколоченного и забытого Дома культуры) восемь тяжелых псевдоантичных вазонов и развела в них чайные розы, душистую козью жимолость и горные лилии. Розы цвели невпопад и пахли так, что приманивали своим ароматом пчел, те залетали в открытые форточки и, ненадолго заблудившись в складках ситцевых штор, безошибочно находили дорогу к растениям. Собрав цветочную пыльцу, они улетали обратно, чтобы вернуться вновь. Однажды осенью, приманенный сладковато-горьким запахом плодов жимолости, в окно залетел целый пчелиный рой и, забившись за потолочную балку, вознамерился, видимо, остаться там навсегда. И Анатолии пришлось обегать всю деревню в поисках двора, с пасеки которого улетели пчелы. В подклети вырос большой муравейник – муравьиные тропы, криво петляя, тянулись по дощатым настилам к входной двери и исчезали за порогом. Карниз крыши по периметру облепили гнезда ласточек – из года в год они прилетали туда, чтобы вывести новых птенцов. По осени, сразу после отлета птиц, Анатолии приходилось отмывать наружные стены от помета и прочего мусора обмотанной ветошью метлой. Однажды она обнаружила воробьиное гнездо в печной трубе и вынуждена была дожидаться того времени, когда птенцы вылупятся, окрепнут и улетят, и только после бережно перенесла гнездо на дерево. Иначе можно было спугнуть родителей, и те навсегда покинули бы гнездо, забросив на произвол судьбы недосиженные яйца.

Библиотека со временем стала напоминать Вавилон для живности, всякая пичужка или букашка находили здесь уют и множились с удивительной ретивостью. Анатолия оставляла на подоконниках блюдца с сахарной водой – для бабочек и божьих коровок, смастерила несколько кормушек для птиц и высадила во дворе небольшой огород – на радость муравьям. Так она и проводила дни, шелестя страницами любимых, пахнущих кожаным переплетом книг, бездетная и несчастная, окруженная невинными созданиями – на работе и терзаемая ненавистью супруга – в отцовском доме.

Спустя время школа шатко-валко, но набрала начальный класс, и в библиотеке наконец появились маленькие посетители. Анатолия обрушила на них всю свою нерастраченную материнскую любовь. На столе, рядом с деревянным лотком с читательскими формулярами, она всегда держала вазочку с сухофруктами и домашним печеньем. Если дети просили попить, наливала им чая или компота, а потом развлекала вычитанными или же придуманными историями. Взрослые редко заглядывали в библиотеку, не до книг им было, а вот дети – смешные,

любопытные, глазастые – могли проводить там часы напролет. Они с трогательной осторожностью бродили среди вазонов и горшков с растениями, норовя принюхать к каждому цветку, наблюдали за полетом пчел, доливали в блюдца сахарной воды, читали, делали уроки, отвлекаясь на многочисленные вопросы, которыми сыпали непрерывно. Уходя, обязательно подставляли для поцелуя щечку. Анатолия искренне верила, что любовь детей не что иное, как утешение небес за ее бездетность.

– Пусть хотя бы так, – смиренно соглашалась она со своей судьбой.

Мучительная и тяжелая личная жизнь, на протяжении восемнадцати долгих лет неминуемо катящаяся под откос, кончилась большой трагедией. Муж, обозленный всеобщим ласковым к ней отношением, решил окончательно подпортить ей жизнь и однажды потребовал уволиться с работы. Обычно бессловесная, Анатолия неожиданно даже для себя ответила твердым отказом. А когда он привычно замахнулся на нее, пригрозила пожаловаться Ованесу.

– Пусть он тебя уму-разуму научит, – выпалила в сердцах она. – А если не возьмешься за ум – разведусь с тобой. Запомни, в моем отцовском доме ты руки на меня больше не поднимешь!

Муж нехорошо прищурился, смолчал. Но, дождавшись, когда она уйдет на работу, устроил настоящий погром – выбил двери во всех комнатах, разнес топором мебель, не пощадил даже сундук, который Анатолия берегла как зеницу ока – там, бережно проложенные сушеной лавандой и мятным листом, лежали платица, туфельки и игрушки покойных сестер.

Привлеченная шумом Ясаман побоялась заходить в дом, отправила за подругой в библиотеку внука, а сама побежала в другой конец деревни – за мужем. Когда запыхавшийся Ованес добрался до места, Анатолия лежала без сознания на полу гостиной, избитая до полусмерти, а на гладкой поверхности овального стола зияли два глубоких следа от ударов топора – это озверевший муж, распластав ее на столешнице, отсек под корень чудесные медовые косы и, крикнув ей в лицо с торжествующим злорадством: «Теперь ты сдохнешь без своих волос», – скрылся из дому, забрав напоследок все ее скудные сбережения. Погоня за ним ничего не дала – он умудрился уехать на почтовом фургоне в долину, где и сгинул с концами и никогда более не давал о себе знать.

Ясаман выхаживала подругу молитвами и целебными настоями. Деревня, потрясенная случившимся, замерла в тревожном ожидании – каждый помнил о проклятии, которое ниспослала на семью Агулисанц Воске и Севоянц Капитона Татевик. Но Анатолия, ко всеобщему облегчению, быстро пошла на поправку и скоро снова вышла на работу. У нее еще долго ломило тело – особенно к перемене погоды, и зрение пострадало от удара кулаком по голове – пришлось съездить в долину, чтобы заказать себе очки, но она не роптала и выглядела даже счастливой, потому что наконец-то освободилась от гнетущего страха, преследовавшего ее все годы брака.

Старик Минас, дождавшись, когда она поправится, заглянул к ней домой, смущенно кряхтя, извинялся за непутевого помощника и предлагал починить испорченную мебель, но Анатолия отказалась что-либо восстанавливать. Она понемногу вынесла во двор обломки и сожгла их дотла, единственное, что оставила, – овальный стол из мореного дуба со следами от ударов топора. Ованес притащил ей шифоньер, Ейбоганц Валинка уступила кровать и тахту, а Якуличанц Магтахинэ – большой деревянный ларь. Минас потихонечку починил межкомнатные двери и перекрасил дощатые полы. От бывшего богатого вида дома не осталось и следа, но скудная обстановка не печалила Анатолию, она всегда умела довольствоваться малым. Несказанно радовалась чудом уцелевшему альбому с фотографиями – взяла его на работу, чтобы отреставрировать корешок, да так и забыла на столе, чем и спасла его.

До войны, неминуемым мороком кружившей над долиной, оставалось пять лет, и все эти годы Анатолия прожила в безмятежном, благословенном покое. Дни она проводила в библиотеке, вечера – у себя или же у Ясаман, по выходным навещала родных на кладбище – посаженная на могиле отца плакучая ива разрослась, развесила над каменными крестами свои длинные тонкие ветви, шелестела серебристо-зелеными листьями бесконечные молитвы. Анатолия располагалась между надгробиями, если позволяла погода, допоздна, до лилового заката. Иногда засыпала, прислонившись виском к прохладному крест-камню. Слева лежали мать с отцом, справа – сестры и бабо Манэ, Анатолия сидела, обхватив колени руками, и рассказывала им счастливые истории: о детях, которых с каждым годом, слава богу, рождалось все больше, о чайных розах, что приманивали своим ароматом целые рои пчел, о муравьиных тропах, тянувшихся из-под пола крохотными стежками к библиотечному порогу.

Так она и старела – медленно и неуклонно, в окружении дорогих сердцу призраков, одинокая, но счастливо умиротворенная. Ясаман, которую

беспокоило одиночество подруги, несколько раз намекала, что неплохо бы ей еще раз выйти замуж, но Анатолия отрицательно качала головой – поздно, да и незачем. Что я видела хорошего от одного мужа, чтобы ждать хорошее от второго?

Война случилась в год, когда ей исполнилось сорок два. Сначала из долины стали приходить смутные известия о перестрелках на восточных границах, потом забил тревогу Ованес, дотошно читающий прессу. Судя по срочным сообщениям о боях, дела на границах – восточной, а затем и юго-западной – шли из рук вон плохо. Зимой подоспела весть об объявленной всеобщей мобилизации. Спустя месяц всех мужчин Марана, способных держать в руках оружие, забрали на фронт. А потом война пришла в долину. Развернулась огромным клыкастым вертуном, загребая в свой чудовищный водоворот строения и людей. Склон Маниш-кара, по которому змеилась единственная дорога, ведущая в Маран, покрылся рытвинами – следами от минометных обстрелов. Деревня на долгие годы погрузилась в беспросветную темень, голод и холод. Бомбежки оборвали линии электропередач и выбили стекла в окнах. Пришлось обтягивать рамы полиэтиленовой пленкой, потому что неоткуда было достать новые стекла, да и смысл их вставлять, если следующий обстрел неминуемо превратит их в груды осколков? Особенно беспощадными бомбежки становились в сезон сева, намеренно не давая работать в поле, а скудного урожая с огорода хватало ненадолго. Дров, чтобы протопить печи и хотя бы избавиться от мучительного холода, неоткуда было добыть, лес кишел вражескими лазутчиками, не щадившими никого – ни женщин, ни стариков. На растопку пришлось пускать деревянные частоколы, потом – чердачные крыши и сараи, спустя время стали разбирать веранды.

Первая зима выдалась особенно мучительной, Анатолии пришлось перебраться жить на кухню, поближе к печи. В остальных неотапливаемых комнатах стало невозможно находиться – обтянутые пленкой окна не защищали от сырости и холода, а стены и потолки покрылись толстым слоем инея, который, если немного пригревало, подтаивал и стекал лужицами на мебель, одеяла и ковры, безвозвратно их портя. Скудные запасы керосина для ламп быстро иссякли, следом кончились свечи. Школа с наступлением холодов закрылась, библиотека тоже пустовала. Анатолия нагрузила тележку книгами, которые вознамерилась перечитать за зиму, а также горшками и вазонами с растениями и привезла их домой, в тепло. Загородила угол кухни, подстелила соломы, переселила туда беременную козу – к концу января та принесла двух козлят. Так и провела бесконечно долгую и холодную зиму – возле печи, в окружении растений, любимых книг и мелко мемекающих козочек. Мыться приходилось частями, в

деревянном корыте – сначала голова, потом верхняя часть туловища, потом нижняя. Она мылась стыдливо повернувшись к козам спиной – стеснялась. Зима выдалась снежной, поэтому ходить за водой на родник надобности не было, Анатолия зачерпывала в ведра снег, часть оставляла на ночь – отстояться, на питье и готовку, а другую грела на печи и пускала на стирку и мытье посуды. В четверг и пятницу приходилось выносить помои на веранду, чтобы они остыли на холоде, и лишь потом выливать. По старинному, неукоснительно соблюдающемуся маранцами поверью, горячую воду в четверг и пятницу лить на землю было нельзя – чтобы не ошпарить ног Христу.

Зимние дни были похожи друг на друга, словно прозрачные камни в четках бабо Манэ, с которыми Анатолия не расставалась никогда. Утром она выбиралась в курятник – подсыпать зерна птице и забрать яйца, далее кормила коз, убиралась на кухне и готовила что-нибудь на скорую руку, а потом читала на протяжении недолгого смурого дня. С наступлением кромешной ночи дремала на тахте, завернувшись в несколько одеял, или же просто лежала, наблюдая гаснущее свечение углей сквозь небольшое отверстие в заслонке дровяной печи. Под рукой всегда лежал альбом с фотографиями родных, она пролистывала его, утирая краем рукава слезы, молчала. Рассказывать было нечего, а досаждать им жалобами не хотелось.

Весна настала чуть позже, чем обычно, только к середине марта измученный холодом и темнотой Маран, наконец, с облегчением выдохнул, заскрипел дверями и калитками, распахнул окна – впуская в дома солнечный свет. Радость от того, что наконец-то миновала беспросветная ледяная зима, была так велика, что затмила страх перед смертью. Маранцы давно уже привыкли к обстрелу, поэтому, не обращая на него внимания, занялись бытовыми делами, коих оказалось огромное количество. Никто не мог предположить, что проникшие в комнаты холод и сырость в состоянии причинить столько вреда имуществу. Нужно было хорошо проветрить и обсушить отсыревшие за зиму комнаты, чтобы победить вездесущую плесень, умудрившуюся пролезть во все бельевые сундуки и шифоньеры. Стены, полы и мебель пришлось обрабатывать раствором квасцов и купороса, а стирки хватило на долгий месяц, потому что перемывать пришлось все – начиная от постельных принадлежностей и одежды и заканчивая коврами и паласами. Работы было так много, что в библиотеку удалось выбраться лишь к концу апреля, когда немного поутихли бомбежки и в школе возобновились занятия.

Анатолия завозилась щекой по подушке, горько вздохнула, отгоняя набежавшие слезы. С того дня прошло много лет, но всякий раз она с большим трудом справлялась с глубокой душевной болью, когда вспоминала, в каком бедственном состоянии застала библиотеку. Сырость, проникнув сквозь затянутые пленкой окна, добралась даже до самых верхних полок, покрыв чудовищными пятнами плесени кожаные переплеты и безвозвратно пожелтевшие, искореженные страницы книг. Господи, господи, плакала Анатолия, одну за другой обходя обставленные книжными трупиками полки, что же я наделала, как же я их не уберегла?

Заглянувшая в библиотеку школьная директриса обнаружила ее на пороге, Анатолия сидела, обхватив голову руками, и, мерно раскачиваясь, рыдала – по-детски безутешно, взхлеб. Директриса – пожилая крупная женщина с тяжелой мужской челюстью и могучими плечами – молча выслушала ее сбивчивые объяснения, потом прошлась по библиотеке, выдернула наугад несколько книг, пролистала их, покачала головой. Вернула их на место, принюхалась к пальцам, поморщилась. Вытащила платок, брезгливо утерла руки.

– Ну и что ты могла сделать, Анатолия? Они все равно бы погибли.

– Но как же так? Как же так? Старая библиотекарша их в голод уберегла, а я не смогла в войну уберечь.

– Тогда окна были целы, а теперь... Кто же мог знать, что так выйдет!

Анатолия предприняла тщетную попытку спасти книги. Принесла моток бельевой веревки, протянула с десятков рядов по двору. Обвесила от края до края книгами, в надежде на то, что солнце и ветер вытянут влагу, а там, быть может, получится как-нибудь их отреставрировать. Со стороны казалось, будто над библиотечным двором взмыла стая разноцветных птиц, взмыла – и повисла в воздухе, уныло опустив свои бесполезные крылья. Анатолия ходила между рядами, ворошила страницы. Провела ночь в библиотеке, на случай дождя. На второй день книги пожухли и стали осыпаться страницами, словно листья по осени. Анатолия собрала их, вывалила за забор, заперла библиотеку – и никогда больше туда не возвращалась.

Спустя еще семь тяжелых лет война отступила, забрав с собой молодое поколение. Одни погибли, другие, чтобы спасти семьи, уехали в спокойные и

благополучные края. К тому времени, когда Анатолии исполнилось пятьдесят восемь, в Маране остались только старики, не пожелавшие покидать землю, где покоились их предки. Будучи самой молодой жительницей деревни, Анатолия ничем внешне не отличалась от той же Ясаман, которой в дочери годилась. Ходила, как и остальные старушки, в шерстяных длинных платьях, повязывала передник, убирала волосы под косынку, которую затягивала причудливым узлом на затылке. На глухо застегнутом вороте носила неизменную камею – единственное украшение, которое осталось от матери. Надежды на то, что жизнь когда-нибудь изменится к лучшему, никто из маранцев не лелеял. Деревня кротко и приговоренно доживала свои последние годы, и Анатолия – вместе с ней.

За окном разлилась южная ночь, водила по подоконнику робкими лунными лучами, рассказывала нежным сверчковым стрекотом о сновидениях, что грезились миру. Анатолия лежала на подушках, прижав к груди альбом с фотографиями родных, – и плакала.

Глава 2

Шалваранц Ованес, нещадно гремя вилкой, взбивал в пышную пену гоголь-моголь. Каждое утро, независимо от времени года, обстоятельств и даже состояния здоровья, он завтракал любимым лакомством, а потом заваривал себе крепкого чая с чабрецом, скручивал самокрутку и с наслаждением выкуривал ее, наблюдая, как вьется над толстобочкой чашкой ароматный горячий пар.

Бумагу для самокруток приходилось экономить. Раньше такого не случалось – чего-чего, а бестолковой прессы в долине было хоть отбавляй. Почтовый фургон, натужно фырча, пять раз в неделю колесил вверх по склону Маниш-кара, привозя целые стопки влажно пахнущих типографской краской газет. Ованес честно просматривал каждую страницу. Заголовки все как один были громкими, а содержание – пустым, и это укрепляло его во мнении, что любое напечатанное слово по сравнению с произнесенным – пшик.

– Лучше сто раз подумать, а потом один раз сказать, чем бездумно тиражировать всякую ерунду, – брюзжал Ованес, раздраженно шурша страницами газет.

– Может, они сто раз подумали, перед тем как напечатать? – возражала Ясаман.

– Если бы они сто раз думали над каждым словом, то газеты выходили бы в лучшем случае раз в месяц. Разве можно за один день столько страниц умного придумать?

– Нельзя.

– Вот и я о том!

Впрочем, пустой по содержанию газетный лист на вкусовые качества табака не влиял, поэтому Ованес продолжал исправно выписывать прессу. К сожалению, с началом войны почтовый фургон все реже поднимался по склону Маниш-кара, а потом и вовсе перестал – в долине случались большие перебои с поставкой топлива, и его оставляли на самые крайние и насущные нужды.

С отменой почтовых поставок начались проблемы с бумагой. Выкручивались, как могли. Сначала в ход пошли старые газеты, потом – испорченные книги, которые доведенная до отчаяния Севоянц Анатолия однажды свалила кучей за забором библиотеки. Старики молча разобрали заплесневелые, пахнущие сыростью и тоскливым молчанием томики Шекспира, Чехова, Достоевского, Фолкнера, Бальзака. Из толстенных книжных обложек сделали подставки под горячую посуду, а испорченные страницы пустили на растопку и прочие хозяйственные нужды. Самокрутки из такой бумаги отдавали горечью, чадили и постоянно гасли. Шалваранц Ованес щурился и чертыхался, поминутно прикуривая от тлеющей головешки, которую приходилось каждый раз, обжигаясь, извлекать из дровяной печи, – спичек в деревне тоже не хватало, поэтому пользовались ими крайне осмотрительно.

Война, восемь невыносимо долгих лет собиравшая по миру урожай неприкаянных душ, однажды захлебнулась – и отступила, подвывая и прихрамывая, зализывая кровавые лапы. Топлива, как прежде, не хватало, но жизнь понемногу стала налаживаться, со скрипом возвращаясь на круги своя. Только Марана эти перемены почему-то не касались – никто не вспоминал о

деревне и даже не намеревался. Единственной приезжающей в деревню машиной осталась карета скорой помощи, чтобы дозвониться до которой, приходилось отправлять с телеграфа молнию, потому что другой связи с внешним миром у Марана не было. Видно, в долине давно уже махнули рукой на горстку упрямых стариков, отказавшихся в свое время спускаться с макушки Маниш-кара в низины.

Теперь с бумагой выручал почтальон Мамикон. Раз в две недели (если не было писем – а письма случались крайне редко) он приносил в своей наплечной сумке стопки никому не нужных рекламных листовок, которыми была наводнена долина, и оставлял их на почте. Телеграфистка Сатеник разбивала листовки на двадцать три равные части – по количеству обитаемых домов в деревне – и оставляла на стойке, возле окошка. К вечеру бумагу разбирали.

Перед тем как завернуть в рекламу очередную порцию табака, Ованес внимательно изучал листовку. Судя по содержанию, умных мыслей у жителей долины не прибавилось, и даже совсем наоборот. Потому что, опять же судя по содержанию этих листовок, они теперь занимались только тем, что ходили к ведьмам – заговаривать любовь, брали в долг у банков деньги – на покупку ненужного хлама и стригли домашних питомцев в дорогущих парикмахерских для животных.

– Если Бог хочет наказать человека, первым делом отбирает у него ум, – качал головой Ованес, затягиваясь горьким табачным дымом.

Табак он выращивал сам, на заброшенном участке земли, который когда-то принадлежал его брату. Брат давно умер, дети разъехались по миру, а оставшийся без людской заботы огород быстро зарос бурьяном и мятликом. Вот Ованес и решил засадить его табаком – и земле хорошо, и, на радость Ясаман, освободит под картошку часть своего огорода. Под сушку определил веранду – прибил с обоих концов шиферные гвозди, загнул головки так, чтобы получились крюки. По мере созревания собирал табачный лист – обязательно с вечера, чтоб в растении было как можно меньше влаги, – нанизывал с помощью стальной иглы на шнуры, натягивал на переносные рамы, уносил потомиться в угловой темной комнате дома. Потом выносил рамы на солнечную веранду, натягивал шнуры с пожелтевшими листьями на крюки и оставлял до полного высыхания.

Табак получался отменный – ароматный, мягкий, в меру горчащий. В субботний день, когда на деревенском мейдане собирался небольшой базар, Ованес

укладывал в плетеную корзину сухие табачные листья, брал с собой нарды – и уходил торговать. Рядом чинно вышагивала Ясаман – маленькая, шустренькая, в нарядной косынке и шелковом фартуке на выход. Фартук этот она повязывала строго по церковным праздникам и в субботу-воскресенье. В субботу – на мейдан, в воскресенье – в часовню, на редкие, раз в месяц, утрени, которые служил приходящий священник тер Азария.

По субботам, если позволяла погода, на мейдане собиралось все население деревни. Каждый приносил свои продукты – сезонные овощи-фрукты-зелень, сыр, масло, творог и сметану, вяленое мясо в специях, ветчину, нехитрую выпечку. Деньгами редко когда пользовались, практиковали прямой обмен. За десяток куриных яиц можно было получить нож, пара трехов[10 - Крестьянская обувь.] обменивалась на грванкан[11 - Единица измерения: 1 грвакан – 408 граммов.] овечьей брынзы или три четверти грванкана козьей, кувшин топленого масла – на два кувшина цветочного меда, четыре грванкана овечьей брынзы – на шерсть с одной овцы.

Раньше, когда хозяйства были большие, и жилых дворов в деревне насчитывалось полтысячи, на мейдане было не протолкнуться. Прилавки ломились от всевозможных яств, молочный ряд сменял фруктовый, а гомон стоял такой – хоть уши затыкай. На задворках площади, сразу за овощными рядами, располагался скотный двор, где царили свои, заведенные далекими предками маранцев строгие правила обмена. За корову там отдавали лошадь, годовалого мози[12 - Бычок.] меняли на двух овец, за свинью можно было получить овцу и барана, за нетель – три козы, а за телившуюся корову – вола.

К базарному дню длинной вереницей вверх по склону Маниш-кара тянулись кибитки цыган – они разбивали свои разноцветные шатры за чертой деревни, приходили на мейдан шумной переливчатой толпой, безудержно торговались, обязательно норовили стянуть что-нибудь, но, пойманные за руку, со смехом расплачивались золотыми монетами, а потом разбредались по дворам – гадать на картах и выпрашивать ненужное старье. К вечеру, покончив с торговлей, цыгане уезжали, оставляя за собой дымный запах костров и далекое эхо бренчащих гитар.

К большим праздникам приезжал цирк на колесах, взрывал воздух призывным зовом зурны, натягивал над мейданом трос, запускал в воздух канатоходцев – те балансировали на такой высоте, что дух захватывало, а потом, отбросив в сторону шести, крутили сальто, каждый раз безошибочно приземляясь узкими

ступнями на верткий, норовящий выскользнуть из-под ног канат.

Внизу, расстелив в пыли линялые коврики, сидели темноликие желтоглазые заклинатели и дудели в свои тростниковые пунги, извлекая из них протяжные, завораживающие звуки. Наводя на зрителей священный ужас, качались в однообразном танце околдованные змеи, а вокруг, подметая базарную шелуху длинными юбками, бродили продавщицы восточных сладостей, предлагая купить финики и пирожные с диковинным для этих широт сум аховым орехом.

Но то было в оны дни, давно и неправда, а теперь, забытая всеми и навсегда, деревня неприкаянно болталась, словно пустое коромысло, на плече Маниш-кара. Мейдан скукожился до размеров наперстка – несколько бедных прилавков да мерный стук игральные костей, день проходил в праздных разговорах и воспоминаниях, а к вечеру старики разбредались по домам, так ничего и не продав, каждый уносил свой товар – смысл менять шило на мыло, когда продукты у всех одинаковые. В наваре оставались только Кудаманц Василий и Шалваранц Ованес, у первого можно было наточить затупившийся садовый инвентарь или же выменять его с доплатой на новый, а у второго набить кисет табаком.

Кроме субботнего базара, можно было отовариться в лавке Немецанц Мукуча. Мукуч два раза в неделю запрягал телегу и отправлялся в долину, откуда привозил всего понемногу – сахар, соль, рис, фасоль, спички, мыло, рыбные консервы, кое-что из одежды, обувь – обязательно на заказ, с договоренностью вернуть, если не подойдет по размеру. Особенно выручал с аптечным товаром – бинты, вата, йод, зеленка-марганцовка.

Болезни в деревне лечили снадобьями и отварами, которые готовила Шлапканц Ясаман. К обычным лекарствам старики относилась настороженно и с явным неодобрением.

Возилась со своими отварами Ясаман каждый день, строго по утрам – до восхода солнца или же обязательно после заката. Пока жена заваривала в пристройке к погребу лечебные травы, Ованес взбивал два желтка с несколькими столовыми ложками сахарного песка в густую пену, заваривал крепкого чаю, а потом курил в распахнутое кухонное окно, рассматривая запутавшиеся в ветвях шелковицы бледные лоскутки прозрачного неба.

– Охай! – сопровождал он каждый глоток чая довольным возгласом.

Потом высовывался по пояс в окно и звал жену:

– Шлапканц! Ай Шлапканц! Слышишь, что я тебе говорю? Шлапканц Ясаман!

– Чего тебе, Шалваранц Ованес! – откликнулась раздраженно Ясаман.

Ованес смеялся.

Они были самой забавной в деревне парой. Шлапканц, то бишь из рода Шлапки[13 - Шляпа (искаж.)], Ясаман и Шалваранц – из рода Шалвара[14 - Шалвар – брюки.] – Ованес.

Каждый род Марана имел свое прозвище. Чаще всего оно было смешным и забавным, иногда – ироничным, но изредка – очень обидным. Зависело название рода от того, каким делами – добрыми или недостойными – отличился человек, прозвище которого впоследствии переходило и на его потомков.

Прадед Ясаман, например, по молодости часто гостил у своего двоюродного брата, ведущего артиста одного из академических театров долины. Двоюродный брат водил его на спектакли, знакомил со светской жизнью, учил одеваться. Однажды прадед вернулся из долины в невиданном, можно сказать – вызывающем, на взгляд жителей Марана, головном уборе. На расспросы, что это такое он напялил, прадед с вызовом отвечал: «Шлапку!» За это его прозвали Шлапкой, а его потомков – Шлапканц.

Что касаясь клички рода Шалваранц, тут была совсем другая история. Дед Ованеса собрался на мировую войну, как на праздник, – закрутил усы, надвинул на лоб папаху, обмотался крест-накрест патронташем, надел новые, дорогушие брюки. Правда, до своего полка он так и не доехал, попал под обстрел. Шальным осколком ему изуродовало ногу ниже колена, рана оказалась настолько серьезной, что пришлось ампутировать часть ступни, а по окончании лечения демобилизовать его домой. В лазарете дед Ованеса почему-то убивался не по покалеченной ноге, а по новым брюкам, которые пришлось выкинуть.

– Шалварс, шалварс, – жаловался он сестрам милосердия и докторам. За что и был прозван Шалваром, а все его потомки стали Шалваранц.

В деревне шутили, что Ясаман и Ованес дополняют друг друга, как предметы гардероба.

Ованес очень любил посмеиваться над женой и часто называл ее не по имени, а просто Шлапканц. Ясаман, конечно же, в долгу не оставалась и тут же припоминала мужу историю его непутевого деда, который умудрился остаться инвалидом не провоевав ни одной минуты.

Both сегодня, обменявшись с женой дежурными любезностями, Ованес докурил самокрутку и собирался уже отойти от окна, как вдруг хлопнула калитка. Он вытянул шею, выглядывая раннего гостя. К дому, взвалив на плечо косу, шел кузнец Василий – высокий, крепкий мужик с большими, цвета погасшего пепла глазами и густыми кустистыми бровями. Выглядел он много моложе своих шестидесяти семи лет: подтянутый, седой, с могучими плечами и огромными необоримыми кулачищами – однажды, еще в годы молодости, он умудрился даже на спор убить быка Немецанц Мукуча. Пришлось потом Мукучу, чертыхаясь, пустить мясо животного на кавурму, спросить с Василия денег не хватило смелости, да и смысл спрашивать, когда сам, дурак безмозглый, полез спорить и с пеной у рта доказывать, что ударом кулака быка не свалить.

– Хочешь покажу? – усмехнулся Василий.

– Хочу!

Василий снял жилетку, закатал выше локтя рукава архалука, прошел под навес, где, крепко привязанный к вбитому в землю штырю, фырчал и мотал лобастой башкой огромный иссиня-черный бык.

– Не пожалеешь? – зашушукались за спиной Мукуча односельчане.

Тот вместо ответа пренебрежительно хмыкнул. Василий еще раз усмехнулся, занес над быком кулак – и свалил его точным ударом в затылок. После того случая никто из деревенских мужиков на кулачные бои с ним не нарывался, да и спорить не лез. Немногословный, всегда тихий – пока не спросишь, не заговорит, – Василий был из той породы мужчин, которые умели одним своим

упертым видом вызвать непререкаемое уважение людей.

– С бровей аж захрмар[15 - Змеиный яд (перс.).] капает! – почтительно цокая языком, говорили о таких маранцы.

Василий, будучи от природы скромным человеком, уважительное отношение односельчан воспринимал с иронией, но виду не подавал. Был угрюм, иногда даже груб и несговорчив, но клиентов его напускная неотесанность не пугала – кузнецом он слыл знатным, да и человеком совестливым, если у покупателя не было возможности расплатиться, соглашался ждать, сколько потребуется. В должниках у него ходила вся деревня, но никому о деньгах он не напоминал. После войны его кузница простаивала, работы было ничтожно мало, но он не роптал, «как все, так и мы», – отвечал на вечные жалобы жены на нехватку средств, чем неизменно выводил ее из себя. Якуличанц Магтахинэ, с которой Василий прожил почти полвека, была женщиной аккуратной и работающей, но чрезмерно говорливой, разойдясь, могла сыпать словами бесконечно, делая секундные паузы лишь для того, чтобы набрать побольше воздуха в легкие, Василий терпел-терпел, потом брал ее за локоть, отводил в дальнюю комнату и запирали на засов.

– Как выговоришься, дай знать!

Распаленная беспардонным отношением мужа, Магтахинэ принималась громко, так, чтобы слышно было, в первую очередь, ему, жаловаться на свою никчемную судьбу, на отца с матерью, которые, чтобы отделаться от нее, выдали замуж за этого неотесанного чурбана, хотя остальных своих дочерей они устроили в приличные семьи, особенно младшую, любимицу Шушаник, ей, кстати, собрали самое богатое приданое – три ковра, два сундука с бельем, участок плодоносной земли, три коровы, свиноматку и двадцать несущек и золота столько, что если бы она навесила его разом, то переломила бы свой жалкий хребет, а Магтахинэ выделили на приданое в два раза меньше всего, и украшений не золотых, а серебряных, но время все расставило по своим местам, остальные дети, не иначе как в наказание за несправедливое отношение родителей к Магтахинэ, покинули мир первыми, старшие сестры не пережили голода, единственный брат погиб от

удара молнии, а любимица Шушаник вообще умерла от тяжелого приступа сердечной жабы, захлебнувшись рвотой, так что пришлось родителям до конца своих дней надеяться на Магтахинэ, и она, конечно же, не подвела, всегда была рядом, преданная и любящая, ухаживала и оберегала, выносила за отцом, когда у него совсем отнялись ноги, горшок, прикладывала горячие уксусные компрессы к пяткам матери, чтобы унять бесконечные приступы мигрени, участвовавшие после того, как покинула бранный мир Шушаник, но потом умерли отец с матерью, отец ушел первым, в день шестидесятилетия дочери, и теперь каждый свой день рождения она проводит на кладбище, ухаживая за его могилой, а следом за отцом ушла мать, предварительно вымотав дочери последние нервы, потому что к концу жизни она умудрилась безвозвратно двинуться головой, ходила под себя, а потом разрисовывала этим добром стены и полы, пришлось запереть ее в комнате, чтобы она не распространяла свои художества по всему дому, когда она умерла, Магтахинэ собственноручно снимала штукатурку, чтобы заново отремонтировать комнату, и росписи на этих несчастных четырех стенах было немало, кишечник у покойной, в отличие от мозгов, работал исправно и безотказно, ну еще бы, испражняться – не головой думать, но теперь, когда все родные умерли, она осталась совсем одна, если не считать мужа-чурбана, с которым даже двумя словами не перекинешься, раньше с матерью можно было через запертую дверь поговорить, она хоть и выжила из ума, но умела поддержать разговор, ты ей одно, она тебе другое и невпопад, но хоть какое-то живое общение и участие, и за что ей выпала такая горькая планида, быть недолюбленной всеми и уйти нелюбимой, как та старая собака, которую и пристрелить жалко, и кормить не с руки, все равно ведь подохнет!

Немного отведя душу, Магтахинэ, кряхтя, вылезала в окно и, сыпля проклятиями, осторожно нащупывая каждую ступеньку подошвой изношенной туфли, спускалась по деревянной лестнице, которую всегда держала под подоконником комнаты, где ее запирали муж. Василий к тому времени сидел в кузне, коротая праздный день, и, попыхивая трубкой, вспоминал годы, когда работы было столько, что спины не разогнуть, а загруженная домашними хлопотами жена была тиха и кротка, как снежная ночь.

Магтахинэ была уверена, что переживет мужа, так всегда и говорила ему – что я буду делать, когда ты умрешь, но получилось совсем наоборот: полезла в самый солнцепек пропалывать грядки – и упала замертво, сраженная кровоизлиянием в мозг. Василий оплакивал ее, мучительно долго привыкая к душной тишине, разлившейся вязкой тиной по дому. Несмотря на занозливый характер, Магтахинэ была хорошей женой, не сказать что ласковая, как раз ласки ему всю жизнь не хватало, но преданная и заботливая, и всегда рядом, в горе и в

радости, в достатке и в нищете.

С хозяйством теперь помогала телеграфистка Сатеник, приходившаяся Василию троюродной сестрой. Она надоумила его обратить внимание на Севоянц Анатолию. Василий сначала пропускал ее слова мимо ушей, но сестра не унималась – ей-де самой почти восемьдесят, сегодня она есть, а завтра ее нет, а брат, может, и хороший мастер кузнечных дел, но в хозяйстве как дитя малое, ни приготовить, ни постирать не умеет, да и одиночество для мужика пуще самой страшной болезни, а Анатолия молодая еще, красивая, опять же одинокая и молчаливая, как он любит, так почему бы им не сойтись?

– И главное, – выдвинула самый весомый аргумент Сатеник, – умненькая, вон сколько книг прочитала!

Сестра, конечно же, знала, на что надавить. Василий с детства питал огромное уважение к образованным людям. Будучи безграмотным крестьянином – школы в те годы в Маране не было, а нищая мать не смогла бы оплатить его обучение в долине, – он из кожи вон лез, чтобы дать хорошее образование сыновьям. Да и надежды самому научиться грамоте не терял. Одно время в Маране собирались открыть вечернюю школу, чему Василий несказанно был рад, но потом случился голод, выкосивший половину населения деревни, и разговоры о вечерней школе, увы, прекратились.

Война отняла у него младшего брата и сыновей. Сыновей забрали на фронт из учебной академии, так что у Василия и Магтахинэ не было возможности даже попрощаться с ними. А брата забрали прямо из кузни. Василий до сих пор помнил его взгляд – растерянный, враз ставший детским – и воздетую вверх ладонь левой руки с глубоким шрамом там, где кривая линия жизни, огибая большой палец, уходила вбок. Шрам остался после того, как Василий, не удержав форму с расплавленным металлом, выронил ее на землю. Одна из брызнувших капель, угодив брату в ладонь, прожгла ее почти насквозь. Рана заживала долго и мучительно, гноилась и кровила, Шлапканц Ясаман извела на нее все запасы своих лечебных мазей. К тому времени, когда ожог, наконец, зарубцевался, и брат снова смог взяться за кузнечный молот, подоспела война. У Василия немела ладонь каждый раз, когда он вспоминал о брате. Он хмурился, кряхтел, нарочито долго тер руку, скрипел желваками и часто моргал – чтобы отогнать слезы. О сыновьях своих он никогда не вспоминал – запретил себе раз и навсегда, еле оправившись от той чудовищной боли, которую пережил, получив известие об их гибели. Он и жене запретил упоминать имена сыновей в

своих бесконечных монологах.

- Вот когда умрем и встретимся с ними, тогда и наговоримся.

Магтахинэ неожиданно легко согласилась и никогда при муже не произносила их имен, Василий, тронутый ее сговорчивостью, какое-то время терпеливо сносил ее безбрежный словопоток, пока однажды, вернувшись домой раньше обычного времени, не обнаружил жену стоящей перед зеркалом с фотокарточками сыновей в руках – мерно раскачиваясь и переводя взгляд с одной фотографии на другую, она жаловалась на свою судьбу: на их немощного деда, прикованного к креслу-качалке, сиденье которого Василий переоборудовал таким образом, чтобы можно было отодвинуть в сторону заслонку и подставить горшок, не поднимая старика, Магтахинэ пришлось перешить ему штаны, чтобы он справлял нужду не снимая их, по-другому никак, жаловалась она, мне его не поднять, а подсобить некому, отец ваш пропадает в своей кузне с восхода и до самого заката, а от бабки толку никакого, только и знает, что шастать по соседям да сплетни собирать, странная какая-то стала, это ей не так и то не эдак, иногда грешным делом думаю, что она головой тронулась, на днях застала ее в погребу, сидит в уголочке, чуть ли глазами мне не светит, пережидаю, говорит, ветер, я ей говорю – какой ветер, мама, она мне в ответ – тебе не понять какой, я ей говорю – куда уж мне с моим недалеким умом тебя понять, другое дело твоя любимая Шушаник, а она как услышала имя вашей младшей тетки, как вскочила, как заверещала, как заметалась по погребу, чуть все карасы не перебила, угомонила я ее кое-как, привела домой, напоила мятным чаем, натерла виски тутовкой, она вроде успокоилась, месяц тихая была, а вчера снова учудила – пришла к Ейбоганц Валинке, встала на пороге ее дома, зови, говорит, твою мать, есть у меня к ней разговор, это она с Ейбоганц Катанкой собралась пообщаться, которая преставилась чуть ли не пол века назад, хорошо, что Валинка на ее слова не обиделась, сразу поняла, что на ясную голову человек такое вытворять не будет, завела ее в комнату, усадила на тахту, подожди, говорит, немного, сейчас позову свою маму, а сама прибежала ко мне, мол, так и так, Магтахинэ, мать твоя, кажется, не в себе, пришли мы к ней, а бабка ваша сидит на полу обложившись мутаками, словно шахиня, подайте нам, говорит, халвы с кунжутом и грвакан изюма, да проследите, чтобы изюм был без косточек, а потом поворачивается к голой стене и начинает разговаривать с ней, называя ее Катанкой.

На следующее утро, улучив минуту, когда жена ушла в огород, Василий завернул фотокарточки сыновей в газету, отнес Сатеник и попросил спрятать в

таком месте, где до них не сможет добраться Магтахинэ. Сатеник забрала у него сверток, только спросила, зачем он так сурово поступает с женой.

– Она мне всю плешь жалобами проела, а теперь за сыновей взялась. Не дам их покой тревожить! – отрезал Василий.

Сатеник долго ходила по дому в поисках укромного места, в итоге положила фотографии в металлическую баночку из-под монпансье и убрала на самое дно бельевого сундука, под ситцевые мешочки с сушеной лавандой и нафталином. Обнаружив пропажу, Магтахинэ поостереглась устраивать мужу скандал, прибежала с жалобами к золовке. Сатеник пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не выдать себя. После долгих увещеваний ей удалось убедить невестку не заводить с Василием разговор о пропавших фотокарточках. Магтахинэ к ее совету прислушалась, но затаила на мужа большую обиду и в отместку обогатила полноводное течение своих бесконечных сетований новыми туманными намеками на то, что даже самому бездушному чурбану не под силу стереть образы любимых людей из ее сердца, потому что оно у нее большое и бездонное, не под стать жалким сердцам тех, кто способен без зазрения совести унести из дома самое дорогое, что было, есть и будет у каждой самоотверженной, любящей и несчастной матери, и если эти черствые сердцем люди умеют запереть свое горе под замок, то она этого сделать не в состоянии, потому что силы у нее на исходе, и душа ее – что тот зверь, угодивший в капкан, которому не освободиться и не умереть, а лишь униженно ждать своей неминуемой и страшной кончины. Василий сносил ее жалобы молча, хмурился и кряхтел, уходил в кузницу, сидел возле холодной печи допоздна, дымил трубкой и без конца потирал левую ладонь – в тщетной попытке унять ноющую боль.

После смерти Магтахинэ Сатеник собиралась вернуть брату фотокарточки сыновей, но потом решила повременить – пусть сначала он немного опомнится от горя. И теперь эти снимки, благодаря жестяной коробке из-под монпансье благополучно пережившие холод и нашествие плесени, перекочевали из бельевого сундука в деревянную шкатулку и терпеливо ждали часа своего возвращения под отцовское крыло.

Меж тем Сатеник взялась устраивать личную жизнь брата. Первым делом она перекинулась несколькими словами со Шлапканц Ясаман. Обрадованная возможностью положить конец одиночеству подруги, Ясаман обещала поговорить с Анатолией. Заручившись ее поддержкой, Сатеник принялась уговаривать брата. Василий сначала отмахивался, не принимая ее слова всерьез,

но потом скрепя сердце согласился, потому что сам отлично знал, что мало чего найдется на свете мучительнее одинокой старости.

Относился Василий к Анатолии с большим уважением, несколько раз, еще до войны, намеревался заглянуть в библиотеку, чтобы выпросить себе самоучитель по чтению, но всегда, досадно робея, проходил мимо, оттого что однажды видел, как Анатолия, обмотав метлу ветошью и обильно намочив ее в слабом растворе уксуса, моет каменную стену под ласточкиными гнездами, бережно обводя каждое гнездо по низу, чтобы нечаянно не зацепить его и не обрушить. Вспомнил себя, молодого и пустоголового, способного на спор убить ни в чем не повинного быка, – и усовестился. Вот она, разница между человеком грамотным и неграмотным, думал Василий, уходя прочь от библиотеки в свою жаркую кузницу, грамотный боится порушить пустое гнездо, а неграмотный готов дух из невинной животины вышибить, лишь бы доказать свою дурную силу.

– Она умная, начитанная, зачем ей такой неотесанный чурбан, как я! – поделился он своими сомнениями с троюродной сестрой.

– Муж тоже у нее умный и начитанный был? – хмыкала Сатеник. – Этот бездушный ирод ее смертным боем бил, а она, такая грамотная, терпела. Посмотри на себя – ты порядочный, работающий, надежный. Ни разу на Магтахинэ руки не поднял, хотя она, царствие ей небесное, много раз напрашивалась на приличный нагоняй. Грамотность, Васо-джан, не тут должна быть, – Сатеник постучала пальцем по лбу брата, – а вот здесь, в сердце, – и она приложила ладонь к его груди.

Доведенный ее уговорами Василий, дождавшись, когда табак выйдет, засобиравшись к Ованесу. Прикупил курева, заодно, запинаясь и смущенно откашливаясь, спросил об Анатолии. Ованес не дал ему договорить:

– Я буду только рад, если вы сойдетесь. Правда, Ясаман говорит, что Анатолия не настроена на новый брак, но ты же знаешь женщин. Сегодня у них одно на уме, завтра – обратное. Дай ей время пообвыкнуться с этой мыслью. Там видно будет.

С того дня Василий часто заглядывал к Ованесу и Ясаман, поговорить о том о сем и в нарды перекинуться. Однажды он застал у них Анатолию, вежливо поздоровался, но та, отчего-то расстроившись, взяла у Ясаман соли и

заторопилась уходить.

– Дочка, ты вроде жаловалась, что коса притупилась, попроси Василия наточить ее, – сделал попытку задержать ее Ованес.

– Спасибо, не надо, я уже наточила, – мягко отказалась Анатолия и направилась к входной двери.

– Упрямая, как ишак. Вся в своего отца, – дождавшись, когда она уйдет, развел руками Ованес.

– Она дочь своего отца, а я – сын своего. Посмотрим, кто кого, – хмыкнул Василий.

Ованес тогда хлопнул себя по коленям и рассмеялся. А теперь, пряча улыбку в бороду, наблюдал, как бликуют на солнце тщательно наточенное острие и отполированная до блеска рукоять косы, которую Василий нес на своем плече.

– Я смотрю, с гостинцем пришел, – крикнул Ованес.

Василий пошел вверх по лестнице, цепляя лезвием косы виноградную лозу, увивающую перила и деревянные подпорки веранды.

– Может, внизу оставишь инструмент? – не вытерпел Ованес.

Василий смешался, снял с плеча косу, прислонил ее к перилам таким образом, чтобы она не опрокинулась.

– Я это. К Анатолии собрался. Косу ей новую сделал, раз старая затупилась.

– А чего домом промахнулся?

– Да вот... Вчера к заходу солнца зашел – а у нее свет везде погашен. Пришел сутра – птица не выпущена из курятника и двор сухой, видно, что водой не обрызгивали и не подметали. Постучался в дверь – не открывает.

- Ну, может, спит еще.

- Может, и спит. Я чего хотел попросить, Ованес. Пусть Ясаман ходит к ней, узнает, как она там.

- Она травы заваривает. Закончит - ходит. Но вообще, - проговорил со значением Ованес, - я бы на твоём месте сам это дело до конца довел, раз, слава богу, все-таки решился.

Василий почесал затылок, снова взвалил на плечо косу.

- Пойду постучусь еще раз.

- Косу хотя бы оставь. Ходишь с ней, как привязанный. Никуда она не денется, потом отнесешь.

- Нет, я лучше так.

- Нуда, с инструментом сподручней женихаться.

- Чего?

- Говорю - удачи. Зайди потом, расскажи, чего там у тебя вышло.

Дождавшись, когда Василий скроется за калиткой, Ованес нацепил трехи, заправил внутрь шнурки, чтобы не путались под ногами, и заторопился в подсобку - к жене. Ясаман как раз процеживала через марлю в бутылку темного стекла остывший отвар. В комнате крепко пахло сухими травами и кизиловой самогонкой, на которой она неизменно настаивала лечебные снадобья.

- Слышишь, Ясаман. - Ованес тщательно притворил за собой дверь, чтобы не пропустить в помещение губительные для настоек солнечные лучи.

- С кем это ты там разговаривал?

- С Василием. Говорит - Анатолия ему дверь не открывает.

– Как это не открывает?

– А вот так. Видно, косы испугалась.

Ясаман замерла с ситечком в руке.

– Какой косы?

– Той косы, с которой он к ней в гости заявился. Надоело ждать, пока она проникнется к нему благосклонностью, вот и пришел с инструментом. Мол, откажешь – головы не снесешь.

Ясаман фыркнула, покосилась на мужа. Тот с невозмутимым видом рассматривал на просвет бутылку с отваром. Потом поставил ее обратно на полку, хмыкнул.

– Собирался идти поливать табак, но придется дожидаться возвращения Василия. Хочется знать, чем все закончится.

– Хоть бы он ее убедил, – вздохнула Ясаман.

Глава 3

Каждый раз, когда отец, припадая на левую ногу и делая резкий, широкий замах правой рукой, скашивал новый ряд травы, Анатолия видела, как напрягаются под архалуком и заправленными в голенища сапог брюками его мышцы. «Поди неудобно работать, когда одежда так плотно прилегает к телу», – подумала она. Шел дождь – сильный, но на удивление легкий, лил, словно сквозь проходил. Анатолия подставила ладони, ощутила его прикосновение робким дыханием теленка Груши, которому в детстве каждое утро приносила морковки, – съев угощение, теленок ласково дышал ей в ладони и глядел большими влажными глазами в пушистых белесых ресницах.

- Гру-у-ша, - умилялась Анатолия, - Гру-уша.

- М-ы-ы-у, - отвечал, вздрагивая большими ушами, теленок, - м-ы-ы-у.

Анатолия вдохнула полной грудью влажный воздух - голова закружилась от острого запаха ранних яблок: крохотных, нежно-румяных, с розовыми разводами на срезе и ярко-малиновыми косточками, мама варила из этих яблок варенье - душистое, на меду и корице, старшая сестра подхватывала из миски за длинный хвостик яблочко, подставляла ладонь, чтобы не капнуть соком на пол, протягивала ей - ешь.

Дождь шел так, словно смывал все горести. Гладил по волосам, обнимал за плечи, щекотал затылок. Анатолия подставила ему лицо, но глаза не закрывала, чтобы не терять из виду отца. Порадовалась тому, как он верно подгадал время для работы, ведь косить траву легче всего в мокрую погоду.

- А-ай-йрик! - позвала она нараспев. - А-а-йрик![16 - Айрик - отец (арм.).]

Отец ее не слышал. Мерно, без видимых усилий размахивая девятиручной тяжелой косой, он продвигался к краю поля - такими большими, в девять обхватов клинка инструментами работали только исполинского роста и силы мужчины, которых в Маране называли аждааками, то бишь великанами. Севоянц Капитон, наверное, и впрямь был из рода аждааков - могучий, двухметроворостый, несгибаемый, как скала, с такими широченными плечами, что на одно усаживал двух старших дочерей, на другое - Воске с Анатолией и кружил их, захлебывающихся в счастливом визге по двору, под испуганные причитания старенькой бабо Манэ - только не урони их, Капитон-джан, только не урони.

- Не уроню, - смеялся Капитон.

Дождь ниспадал целительным потоком, обволакивал, убаюкивал, тянул за плечи назад, туда, где было шумно и неуютно, куда не хотелось оборачиваться и не хотелось возвращаться. Водяные струи становились плотнее и гуще, мешали Анатолии разглядеть отца - она забеспокоилась, попыталась сделать шаг к нему, но ноги не слушались, шум за спиной, сначала едва различимый, - усиливался, нарастал и, наконец, преодолев какие-то неведомые преграды, достиг ее, завертев в вихре настойчивого, протяжного, отчаянного зова:

– Анатолия! Ай, Анатолия! А-на-то-ли-я!

Анатолия открыла глаза. И сразу разглядела раскачивающуюся на сквозняке тонкую нить паутины, свисающую с деревянной балки потолка. Бабо Манэ бы заругала – у хорошей хозяйки не может быть паутины под потолками, хорошая хозяйка хотя бы через день должна проходиться по верхним углам комнаты шваброй, обмотанной сухой тканью, чтоб не прослыть потом на всю деревню неряхой.

Она зарылась лицом в ладони, тяжело вздохнула. Не умерла.

Откинула одеяло, с превеликой осторожностью села. Предусмотрительно подстеленная клеенка была испачкана кровью почти до краев, мокрая ночная рубашка задралась кверху. В ушах шумело, во рту остро отдавало неприятной горечью. Она поморщилась, налила в стакан воды, выпила. Головокружение немного унялось, но поясницу ломало так, словно вчерашний день она не в постели провела, а провозилась в огороде. Анатолия кинула взгляд на замерший у самого края подоконника солнечный луч и подивилась тому, что умудрилась проспять почти до полудня. Собралась уже подниматься, как вдруг услышала в соседней комнате шаги. Только успела откинуться на подушки и прикрыться одеялом, как в дверь раздался негромкий стук.

– Анатолия? Это Василий.

Анатолия испугалась. Наверное, с какой-нибудь дурной вестью пришел.

– Случилось чего? – спросила она.

Дверь скрипнула, приоткрылась совсем чуть-чуть.

– Я стучал-стучал, но все без толку. Пошел вокруг дома, вижу – окно открыто. Звал тебя, но ты не отвечала. Решил зайти, мало ли, вдруг помощь нужна.

Анатолия вздохнула. Вот чей настойчивый зов вернул ее к жизни. Она села, сдернула со спинки стула жакет, надела его, застегнулась на все пуговицы, провела рукой по волосам, приводя их в порядок. Поправила одеяло так, чтобы оно прикрывало всю простыню.

– Заходи, раз пришел.

За дверью зашебаршились. Далее обе ее створки распахнулась до упора и впустили в комнату остро заточенный клинок косы. Обомлевшая Анатолия молча наблюдала, как Василий, стараясь не зацепить шкаф с бельем, оборачивает косу вниз клинком и прислоняет к стене. Потом он повернулся к ней, коротко кивнул:

– Доброе утро.

Она осторожно кивнула в ответ, не отрывая изумленного взгляда от косы.

– Заболела? Может, к Ясаман за снадобьем сходить? – спросил Василий.

Анатолия покачала головой и медленно перевела взгляд на ступни гостя. Входя в дом, он разулся и теперь стоял перед ней в разных носках – один коричневый, а второй и вовсе разноцветный – в синюю, желтую и зеленую полоску. Василий проследил за ее взглядом, окончательно сконфузился. Пробубнив «надел первое, что попало под руку», он растерянно потоптался на месте, попытался было убрать пудовые ручищи в карманы брюк, но, потерпев фиаско, спрятал их за спиной. Нахмурился.

– Тогда я пошел?

– А приходил чего? – обрела наконец дар речи Анатолия.

– Косу принес в подарок. – Василий смущенно крякнул и, раздосадованный собственной нерешительностью, сердито добавил: – Ну и замуж хотел позвать.

Анатолия закатила глаза. Ходил кругами, ходил, то к Ованесу заглянет – якобы в нарды поиграть, то Ясаман подобьет поговорить с ней. Теперь сам явился и новую косу зачем-то притащил. Стоит, словно пепла на хвост насыпали – и стряхнуть охота, и мусорить не хочется.

Каждый житель Марана знал всю подноготную остальных своих односельчан, для каждого они были словно на ладони – со всеми своими горестями, обидами, болезнями и редкими, но такими долгожданнами радостями. Отношение друг к другу в деревне было участливо-сродное, подразумевающее добрососедство, и

ничего более. Анатолия не могла взять в толк, с какой стати Василию пришло в голову порушить этот мерный распорядок жизни. Вся его взрослая жизнь – с того самого осеннего утра, когда она девятнадцатилетней девушкой вернулась в отцовский дом (именно в тот день у Василия родился первенец), и до того дня, когда умерла Магтахинэ, оставив его одиноким вдовцом, – протекала перед ее глазами. Ничего, кроме родственного расположения, она к нему не испытывала и сходить к нему не собиралась. Но и расстраивать его она тоже совестилась – вон, набычился, глядит исподлобья своими большими, чуть навывкате, цвета остывшей золы глазами – и сокрушенно молчит.

Встревоженный ее долгим безмолвием Василий, не сводя напряженного взгляда с растерянного лица Анатолии, думал, что если она ему откажет, то, не откладывая дел в долгий ящик, он придет к троюродной сестре на телеграф и выдернет ей позвоночник, чтобы она не подбивала его больше на всякую дурость. Скрипел себе последние три года вдовцом и дальше проскрипит. Люди калеками свой одинокий век доживают и не жалуется. А ему чего роптать, слава богу, руки-ноги на месте, и голова еще варит.

Тянуть дальше с ответом не имело смысла – Василий наливался грозowymi тучами буквально на глазах, так что Анатолия решилась. Все одно ее скоро не станет, пусть хотя бы не держит на нее зла за то, что она ему отказала. Собрав всю волю в кулак, она коротко улыбнулась и кивнула.

– В смысле да? – обомлел Василий.

– Да, – просто ответила Анатолия.

Василий смешался. Тщательно разработав пути отступления при неблагоприятном стечении обстоятельств, реакции на положительный ответ он почему-то не предусмотрел. Оттого стоял сейчас, словно громом пораженный, только воздух ртом хватал.

– Никак передумал? – рассмеялась Анатолия.

– Да нет! – отмер, наконец, Василий, смущенно кхекнул и заторопился к выходу. – Пойду на телеграф, Сатеник приведу.

– Зачем?

- Свататься. Чтобы все по чину, по традиции.

- Нам ведь с тобой не по двадцать лет, - мягко возразила Анатолия. - Давай обойдемся без церемоний.

- Раз без церемоний, чего тогда тянуть? - приободрился Василий. - Собирай свои вещи, переедешь ко мне.

- Нет. Жить мы будем в моем доме. Я так хочу.

- Как скажешь. Пойду тогда свои вещи соберу. Вечером перенесу к тебе.

Анатолия просяще подняла руку.

- Дай мне хотя бы два дня.

- Зачем?

- Ну... свыкнуться. И дом подготовить к твоему переезду.

- Ладно, пусть будет по-твоему.

Василий поднял косу, взвалил ее на плечо.

- Где у тебя инструмент хранится?

- В большом погребе. Как спустишься по лестнице, поворачивай направо.

- Отнесу. И Ясаман с Ованесом предупрежу, что все у тебя в порядке. Переполошились небось.

- С чего это переполошились?

- А я знаю?

– Передай, что я попозже загляну к ним.

– Тогда и я к ним загляну. – И Василий, прикрыв за собой дверь, вышел из комнаты.

Анатолия прислушивалась к его удаляющимся шагам. Ее мучили угрызения совести, но поступить по-другому она не могла, главное, что сейчас ей было нужно, – выпроводить непрошеного гостя. Поэтому и подыграла ему. Ничего, не маленький, переживет. Она откинула одеяло и осторожно поднялась. Первым делом, морщась, еле сдерживая рвотные позывы, сняла с себя испачканную одежду. Никогда прежде, даже в те годы, когда каждое новое женское недомогание по крупице убивало ее надежду забеременеть, она не испытывала такого необъяснимого отвращения к собственному телу, как сейчас. Всю жизнь промучилась с менструациями – прекратились они только к пятидесяти годам, вымотав ей последние нервы, и протекали всегда с такими чудовищными болями, что каждый раз Анатолии хотелось наложить на себя руки, лишь бы не испытать их вновь. Смесь из гусиного жира и настойки перца, которую она исправно наносила на низ живота, облегчения не приносила, отвары Ясаман тоже не помогали, Анатолия обматывалась пуховым платком и проводила четыре долгих дня скрюченной на стуле – в сидячем положении боль становилась чуть терпимее. Переносила она эту ежемесячную пытку стоически, никогда не роптала. Лишь изредка, доведенная не столько болью, сколько обидой до отчаяния, плакала на плече Ясаман. Что творилось с ней теперь, спустя восемь лет с последних женских недомоганий, она не знала, но и не беспокоилась – смысл волноваться, когда жить осталось в лучшем случае считанные часы.

Времени на раздумья не было, нужно было приводить себя в порядок. Анатолия задышала медленно и глубоко, унимая тошноту. Чтобы легче справиться с головокружением, прикрыла глаза и пошла, держась за стену. Добравшись до кухни, первым делом поискала съестное. Нашла на полке забытую баночку с остатками розового варенья, доела его, не ощущая вкуса. Сладкое придало ей немного сил. Она помылась, оделась в чистое. Обвязала мокрые волосы косынкой, посидела, давая себе отдохнуть. Перестелила постель. Потом натаскала из дождевой бочки воды, распустила в ней щепоть соды, чтобы легче было смыть пятна, замочила испачканное белье. Выпустила домашнюю птицу из курятника, нарвала пучок Melissa. Сходила в погреб – за медом. Новая коса висела на штыре, а затупившаяся старая исчезла – видно, Василий забрал ее с собой, чтобы починить. Угрызения совести снова закопошились в душе, но

Анатолия отмахнулась от них – не время для переживаний. Забрала плошку с медом и пошла в дом. Приготовит лимонад на мялиссе и меду, заест его кусочком хлеба – этого будет вполне достаточно, чтобы немного продержаться.

Ясаман заглянула к ней, когда она вывешивала во дворе постиранное белье.

– Не дождалась тебя, сама пришла, – сказала она вместо приветствия.

– Закрутилась с работой по дому, уже заканчиваю, – ответила Анатолия.

Ясаман окинула ее обеспокоенным взглядом.

– Какая-то ты сегодня бледная. Голова не болит?

– Не выпалась, оттого и бледная.

– Может, мятного настоя тебе принести?

– Спасибо, не надо, я уже приготовила.

Покончив с церемониями, Ясаман стала руки в боки, наклонила голову к плечу – она всегда так делала, когда выступала с претензиями.

– Василий заглядывал. Сказал, что вы договорились. А ты молчишь, ничего не говоришь.

– Так!

– Ты не такая, ты рассказывай.

Анатолия развязала косынку, распустила наспех заплетенную косу – чтобы волосы быстрее высохли. Подняла с земли таз, в котором принесла выстиранное белье, но уносить его в чулан не стала – прислонила к поленнице. Будет потом куда сухое белье складывать.

– Рассказывать нечего, Ясаман. Он меня замуж позвал, а я согласилась. Все одно не останете, пока я не сойду с ним, верно говорю?

– Верно, – согласилась Ясаман.

– Вот я и уступила.

– И правильно сделала. Василий хороший, достойный мужик. Зачем вам обоим в одиночестве куковать?

– Пошли в дом, а то на солнцепеке стоим, – желая перевести разговор на другую тему, предложила Анатолия, но тут же вспомнила, что в гостиной, на самом видном месте, лежит стопка смертного. Ясаман, в отличие от Василия, мигом смекнет, к чему этот комплект одежды на столешнице.

– Нет, давай лучше на веранде посидим, в доме душно, – быстро нашлась она. – Хочешь лимонаду? Угостить тебя больше нечем – не успела обед приготовить.

– Пошли лучше к нам. Я тесто поставила, пирог с сыром буду печь. И свекольной ботвы с мокрицей нарвала. Поможешь мне приготовить с чесноком и мацуном. Как раз к возвращению Ованеса и успеем. Да и Василий обещал зайти, – и Ясаман с хитрой улыбкой уставилась на подругу, но сразу же посерьезнела: – Не нравится мне цвет твоего лица, уж больно ты сегодня бледная.

Стирка отняла последние силы, и единственное, чего хотелось сейчас Анатолии, – это полежать в тишине и спокойствии. Но деваться ей было некуда, отказом она встревожила бы Ясаман еще больше. Поэтому она, ничего не говоря, направилась к калитке. Продержится как-нибудь.

Первым делом Ясаман напоила ее настоем зверобоя и заставила съесть немного меда в сотах, строго велев не выплевывать воск, а проглотить его. От настоя Анатолии стало гораздо лучше, унялся шум в ушах и прекратило мутить, но усилилась жажда, мучившая ее с самого утра. Она попросила воды, но пила ее мелкими глотками, боялась, что кровотечение снова наберет силу.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Толстые вязаные носки.

2

Золотая (арм.).

3

Центральная площадь в небольших населенных пунктах, место, где собирались люди.

4

Раннее утро, отрезок от 3 до 6 утра.

5

Окно в потолке помещения.

6

Платье на торжество.

7

Григорий Просветитель.

8

Мутака – продолговатая диванная подушка.

9

Кисломолочный продукт, напоминающий вкусом простоквашу.

10

Крестьянская обувь.

11

Единица измерения: 1 грвакан – 408 граммов.

12

Бычок.

13

Шляпа (искаж.).

14

Шалвар – брюки.

15

Змеиный яд (перс.).

16

Айрик – отец (арм.).

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/narine-abgaryan/s-neba-upali-tri-yabloka-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)